

Российская журналистика XX века

(дореволюционный период) .

**Учебное пособие
по истории журналистики.**

Екатеринбург

1999 г.

Российская журналистика XX века.
Дореволюционный период. Тексты.
Составитель, автор вступительной статьи Л.П.Макашина.
Ответственный редактор Л.Д.Иванова.
Рецензенты: доктор исторических наук Н.Н.Попов,
Екатеринбург, УрГУ; доктор философских наук В.И.Курашов,
Казань, КГТУ (Казанский государственный технологический
университет).

Печатается по решению Ученого Совета факультета
журналистики Уральского Государственного университета.

© Л.П.Макашина, 1999

© Оформление Ю.В.Котов

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. В начале века.....	4
I. «Великая» Россия или «Больная» Россия.....	7
* П. А. Столыпин. «Речь об устройстве крестьян и о праве собственности».....	9
* П. Б. Струве. «Великая Россия».....	18
* Граф С. Ю. Витте. «Скорее за дело. 1905 год», «Опыт характеристики».....	34
* М. О. Меншиков. «Красивая жизнь».....	39
* Д. С. Мережковский. «Свинья - матушка».....	41
II. «Страшный суд» над русской интеллигенцией.....	61
* П. Б. Струве. «Интеллигенция и революция».....	62
* Н. А. Бердяев. «Слова и реальности в общественной жизни».....	76
* А. А. Блок. «Стихия и культура».....	78
III. Русская пресса XX века о национальном менталитете..	81
* В. С. Соловьев. «Русская идея».....	84
* В. В. Розанов. «Иудеи и иезуиты».....	105
«Евреи и «трефные» христианские царства».....	109
«Европа и евреи».....	113
«Почему на самом деле евреям нельзя устраивать погромов».....	119
* В. Жаботинский. «На ложном пути».....	128
«Русская ласка».....	138
IV. На религиозные темы.....	145
* В. В. Розанов. «Случай в деревне».	
* «Послание патриарха Тихона Совету Народных Коммиссаров».....	162
* П. Б. Струве. «Религия и общественность».	
V. Эстетические манифесты печати XX века	165
* С. П. Дягилев. «Европейские выставки и русские художники. 1896 год».....	167
«Пляска смерти (к самоубийству С. Г. Легата). 1905 год.».....	171
* М. А. Волошин. «Индивидуализм в искусстве».....	174
«Чему учат иконы?».....	182
* Андрей Белый. «Признаки хаоса».....	184
«Символизм как миропонимание».....	185
«Апокалипсис в русской поэзии».....	191
* В. Я. Брюсов. «Священная жертва».....	205
«Ключи тайн».....	210
* Н. С. Гумилев «По поводу салона Маковского».....	212

ВВЕДЕНИЕ

В НАЧАЛЕ ВЕКА

Составителем сборника выделены блоки тем, которые наиболее часто обсуждались российской журналистикой в начале 20 века. Тема реформирования государства была главной. Представители разных течений по-разному оценивали перспективы России. Государственник-кадет Струве и либерал Столыпин отстаивали открытость России во внешний мир и жесткую, направленную на улучшение благосостояния подданных сословий, внутреннюю политику. Патриот-националист Меньшиков ратовал за самодостаточность России и ее отстраненность от Европы-хищницы. Мятущийся анархист Розанов «плакал» о непонятности России и неумении россиян любить свою страну сознательной любовью. Декадент Мережковский издевался над государственным порядком своей страны. Веховцы, все семеро: Кистяковский, Франк, Гершензон, Изгоев, Бердяев, Струве, Булгаков как представители либеральной конституционно-демократической партии так подвели итог полуторастолетней пропагандистской работы либералов: — она носила разрушительный, а не созидательный характер; азрушая монархическое сознание масс, интеллигенция ничего не предложила взамен, более того, не нашла в себе смелости трезво оценить утопичность, несостоятельность своих идеалов (равенство, братство, свобода). Второй раздел книги даст представление о постановке в печати идей о предназначении русской интеллигенции.

Общественно-политический кризис вызвал экономический кризис на рубеже веков. На смену мелкотоварному производству шел крупномасштабный капитализм со всеми его недостатками и достоинствами. Перестраивалось самосознание масс. Тысячелетние идеалы общинности, коллективизма стали подвергаться пересмотру. Ценность отдельной личности, развитие ее творческих дарований, учет ее индивидуальных способностей, национальной специфики стали предметом внимания журналистики. Появились новые журналистские концепции.

Психология массового поведения, мотивация поступков больших групп людей (по сословному, классовому признаку, по интересам, по национальной принадлежности), возможности управления общественным поведением и общественным сознанием активно обсуждались в печати.

Среди наиболее распространенных тем в публицистике этого периода оказалась национальная тема. Можно найти много причин данному феномену, назовем лишь некоторые. Склонное к реформации православное самосознание стремилось объяснить себе, в чем ущербность русского архетипа, медленно вписывающегося в систему капиталистических отношений. Философ-публицист Бердяев предположил, что «бабья ментальность» мешает быть русским агрессивно сознательными, они больше привыкли надеяться на то, что их во всех перипетиях жизни спасет «земля - матушка», а не индивидуальная воля; сознание греховности на пути создания материальных ценностей мешает предпринимателям ценить «успехи в жизни»; русский почитает превыше всего не честность в делах, а икону и святость — понимая недостижимость идеала, но стремясь к нему, он не успевает наслаждаться своим успехом в делах, а рефлексировать, замаливая грех, запивается и не думает о продвижении своего дела «в века»...

Один из разделов сборника посвящен публицистике начала XX века, исследующей национальную психологию. Журналисты стремились поставить диагноз болезни общества, надеясь, что диагноз поможет «лечению» - конструктивному созиданию личности, соответствующей новому этапу производственно-экономических и общественных отношений. Поляки и финны, имеющие, выражаясь современными понятиями, права национальной автономии, заявили о своем нежелании участвовать в этом процессе. «Польский вопрос», «финский вопрос» обсуждались в прессе как право наций на самостоятельные государства. Другое преломление получил в прессе «еврейский вопрос». Талантливый публицист, переводчик, политолог В. Жаботинский активно увещевал еврейские массы не поддаваться «русской ласке, не очаровываться русской литературой, театром, музыкой»...

Православие, как государственная религия и идеология, переживала на рубеже веков эпоху ревизионизма, пересмотра позиций; множились ереси, сектанты, большевики проповедовали атеизм.

Религиозные философы-публицисты понимали, что они должны отыскать в тысячелетнем наследии актуальные положительные нравственные принципы и напомнить о них народу в нужный момент, чтобы не потерять связующую нить поколений, укрепить нацию в переломный этап истории.

Заключительную часть сборника составляют статьи публицистов-литераторов по вопросам искусства. Эпоха мощного переосмысления

русской действительности не могла не повлиять на мировосприятие художников. В борьбе идей рождалась новая эстетика. А. Белый, В. Брюсов, М. Волошин, Н. Гумилев, А. Блок размышляли о судьбах искусства в 20 веке. Представленные в сборнике статьи даны без купюр, ибо журналисту, изучающему мастерство, важно проследить логику автора, способы доказательства, стратегию аргументов, роль образа в композиции материала, место заголовка в образно-логической структуре произведения.

Представленные в сборнике статьи принадлежат авторам «элитарной» журналистики, для которых были характерны философичность, профессиональное владение словом, полемичность, культура изложения - все это уходящие в невозвратное прошлое качества. Как бы ни были прекрасны и глубоки идеи, они не могли быть востребованы в эпоху, когда новые социальные слои, буржуазия и пролетариат, заявляли о своей претензии на лидерство. А у прелетарской и буржуазной журналистики — свои законы функционирования.

В первые годы «перестройки» (1987 - 1993 г.г.), когда российская интеллигенция снова воспылала желанием построить в России либеральное общество, были созданы реальные условия для продолжения традиций классиков либерального журнализма. Снова их имена появились на страницах журналов и газет. И снова интеллигенция не учла уроки истории: выбрав азимут на капитализм, она была должна помнить, что идеалы «общества потребления» и идеалы русского классического либерализма несовместимы. Журналистика по давно опробованным в истории законам разделилась на «деловую» и «бульварную». Идеи постлиберализма, пышно расцветая на никому уже ненужной клумбе, на миг украсили постсоветское пространство и поникли, не успев дать плоды, не найдя благодатной почвы для редких полновесных элитных сортов.

I. «ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»

ИЛИ «БОЛЬНАЯ РОССИЯ»?

Реформирование государственного устройства России стало актуальной темой общественной жизни, а следовательно и прессы, в начале XX века. Необходимость реформ назревала давно. Впервые идея введения конституции и тем самым расширения прав граждан и ограничения монархии была сформулирована государем Александром I, разработана Сперанским еще в первой трети XIX века. По многочисленным объективным и субъективным причинам идее не было суждено претвориться в жизнь. Это чрезвычайно расстроило русскую интеллигенцию. Большинство российских изданий наполнились статьями лучших образованных людей России, воодушевленных идеей разрушения монархической государственности.

*Как сладко отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтожения.
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную денницу возрожденья!*

Эти строки написал профессор Московского университета Печерин. Лейтмотивом публицистики демократов Некрасова, Чернышевского, Белинского, Писарева и их многочисленных последователей была та же мысль. Три четверти века разрушали патриотическое, общественное, государственное сознание русские публицисты, обдуманно не замечая успехов в науке, экономике, образовании, военном деле монархического государства.

В начале XX века введение конституции в России было объявлено Манифестом 17 октября 1905 года. Как и предполагалось, она вызвала продолжительные народные волнения: бунты, восстания, вооруженную борьбу. Часть здравомыслящей интеллигенции, понимающей правомерность такой реакции масс, призывала скорее оправиться от эйфории и приняться за будничную работу. Видными представителями такой позиции были кадет (конституционный демократ) Петр Струве и монархист Михаил Менъшиков. «Скорее за дело! - призывал Струве. — Анархия в общественной жизни ведет к ослаблению государства». Вслед за премьер-министром П. А. Столыпиным он убеждал, что национальные амбиции и образование национальных государств Финлян-

дии, Польши может привести к ослаблению как новых суверенитетов, так и самой России. С ней перестанут считаться за рубежом, потеря государственной независимости приведет к потере личной независимости (статья «Великая Россия»).

Публицист М. Меньшиков настойчиво проводил мысль о протекционизме, поддерживая новый закон о таможенных тарифах Д. И. Менделеева, известного химика. Меньшиков писал, что необходимо на некоторое время закрыть границы для иностранных товаропроизводителя. Эта мера заставит собственных промышленников производить необходимые товары высокого качества, удовлетворяя самый требовательный и изысканный вкус потребителей. Когда конкурентоспособность отечественных товаров будет высока, можно будет снять ограничения на ввоз импортных товаров (статьи «Закрытое государство», «Где строить флот?» и др.).

Однако «созидательная тема» в журналистике еще долго не могла противостоять «разрушительной теме», по инерции из века 19-го, продолжающей преобладать на страницах газет и журналов. Не случайно В. Розанов констатировал: «У французов есть «дорогая Франция», у англичан - «старая Англия», у немцев - «наш старый Фриц». Только у прошедших русскую гимназию и университет - «проклятая Россия». Д. Мережковский, оценивая роль интеллигенции в разрушении положительно заряженного общественного сознания, поставил диагноз общественной жизни России начала XX века - «больная Россия». В сборнике представлены статьи авторов разных взглядов.

* * *

П.А.СТОЛЫПИН

**РЕЧЬ ОБ УСТРОЙСТВЕ КРЕСТЬЯН И О ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 10 МАЯ 1907 ГОДА.**

Господа члены Государственной думы! Я исхожу из того положения, что все лица, заинтересованные в этом деле самым искренним образом желают его разрешения. Я думаю, что крестьяне не могут не желать разрешения того вопроса, который для них является самым близким и самым больным. Я думаю, что и землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей спокойных и довольных вместо голодающих и погромщиков. Я думаю, что и все русские люди, жаждущие успокоения своей страны, желают скорейшего разрешения того вопроса, который, несомненно, хотя бы отчасти, питает смуту. Я не буду останавливаться и на тех нападках, которые имели место агитационного напора на власть. Я не буду останавливаться и на провозглашавшихся здесь началах классовой мести со стороны бывших крепостных крестьян к дворянам, а постараюсь встать на чисто государственную точку зрения, постараюсь отнестись совершенно беспристрастно к данному вопросу. Постараюсь вникнуть в существо высказывавшихся мнений, помятуя, что мнения, не согласные с взглядами правительства, не могут почитаться последними за крамолу. Правительству тем более, мне кажется, подобает высказаться в общих чертах, что из бывших здесь прений, из бывшего предварительного обсуждения вопроса ясно, как мало шансов сблизить различные точки зрения, как мало шансов дать аграрной комиссии определенные задания, очерченный строгими рамками наказ.

Переходя к предложениям разных партий, я, прежде всего, должен остановиться на предложении партии левых, ораторами которых выступили здесь, прежде всего, господа Караваев, Церетели, Волк-Карачевский и др. Я не буду оспаривать тех весьма спорных по мне цифр, которые здесь представлялись ими. Я охотно соглашусь и с нарисованной ими картиной оскудения земледельческой России. Встревоженное этим правительство уже начало принимать ряд мер для поднятия земледельческого класса. Я должен указать только на то, что тот способ, который здесь предложен, тот путь, который здесь намечен, поведет к полному перевороту во всех существующих гражданских правоотно-

шениях: он приведет к тому, что подчинит интересам одного, хотя и многочисленного класса интересы всех других слоев населения. Он ведет, господа, к социальной революции. Это сознается, мне кажется, и теми ораторами, которые тут говорили. Один из них приглашал государственную власть возвыситься в этом случае над правом и заявлял, что вся задача настоящего момента заключается именно в том. Чтобы разрушить государственность с ее помещичьей бюрократической основой и на развалинах государственности создать государственность современную на новых культурных началах. Согласно этому учению, государственная необходимость должна возвыситься над правом не для того, чтобы вернуть государственность на путь права, а для того, чтобы уничтожить в самом корне именно существующую государственность, существующий в настоящее время государственный строй. Словом, признание национализации земли, при условии вознаграждения за отчуждаемую землю или без него, поведет к такому социальному перевороту, к такому перемещению всех ценностей, к такому изменению всех социальных, правовых, и гражданских отношений, какого еще не видела история. Но это, конечно, не довод против предложения левых партий, если это предложение будет признано спасительным. Предположим же на время, что государство признает это за благо, что оно перешагнет через разорение целого, как бы там не говорили, многочисленного, образованного класса землевладельцев, что оно примирится с разрушением редких культурных очагов на месте, - что же из этого выйдет? Что, был бы, по крайней мере, этим способом разрешен, хотя бы с материальной стороны, земельный вопрос? Дал бы он или нет возможность устроить крестьян у себя на местах?

На это ответ могут дать цифры, а цифры, господа, таковы: если бы не только частновладельческую, но даже всю землю без малейшего исключения, даже землю, находящуюся в настоящее время под городами, отдать в распоряжение крестьян, владеющих ныне надельною землею, то в то время как Вологодской губернии пришлось бы всего вместе с имеющимися ныне по 147 десятин на двор, в Олонецкой по 185 дес., в Архангельской по 1309 дес., в 14 губерниях недостало бы и по 15, а в Полтавской пришлось бы лишь по 9, в Подольской всего по 8 десятин. Это объясняется крайне неравномерным распределением по губерниям не только казенных и удельных земель, но и частновладельческих. Четвертая часть частновладельческих земель находится в тех 12 губерниях, которые имеют надел свыше 15 десятин на двор, и лишь

одна седьмая часть частновладельческих земель расположена в 10 губерниях с наименьшим наделом, т. е. по 7 десятин на один двор. При этом принимается в расчет вся земля всех владельцев, то есть не только 107 000 дворян, но и 490 000 крестьян, купивших себе землю, и 85 000 мещан, - а эти два последние разряда владеют до 17 000 000 десятин. Из этого следует, что поголовное разделение всех земель едва ли может удовлетворить земельную нужду на местах; придется прибегнуть к тому же средству, которое предлагает правительство, то есть к переселению: придется отказаться от мысли наделить землей весь трудовой народ и не выделять из него известной части населения в другие области труда. Это подтверждается и другими цифрами, подтверждается из цифр прироста населения за 10-летний период в 50 губерниях европейской России. Россия, господа, не вымирает; прирост населения превосходит прирост всех остальных государств всего мира, достигая на 1000 человек 15 в год. Таким образом, это даст на одну европейскую Россию всего на 50 губерний 1 625 000 душ естественного прироста в год или, считая семью в 5 человек, 341 000 семей. Так что для удовлетворения землей одного только прирастающего населения, считая по 10 десятин на один двор, потребно было бы ежегодно 3 500 000 дес. Из этого ясно, господа, что путем отчуждения, разделения частновладельческих земель земельный вопрос не разрешается. Это равносильно наложению пластыря на засоренную рану. Но, кроме упомянутых материальных результатов, что даст этот способ стране, что даст он с нравственной стороны?

Та картина, которая наблюдается теперь в наших сельских обществах, та необходимость подчинить всех одному способу ведения хозяйства, необходимость постоянного передела, невозможность для хозяина с инициативой подойти к временно находящейся в его пользовании земле реализовать свою склонность к определенной отрасли хозяйства, — все это распространится и на Россию. Все и всё были бы сравнены, земля стала бы общей, как вода и воздух. Но к воде и к воздуху не прикасается рука человеческая, не улучшает их рабочий труд, иначе на улучшенные воздух и воду, несомненно, наложена была бы плата, на них установлено было бы право собственности. Я полагаю, что земля, которая распределилась бы между гражданами, отчуждалась бы у одних и предоставлялась бы другим местным социал-демократическим присутственным местом, что эта земля получила бы скоро те же свойства, как воздух и вода. Ею бы стали бы пользоваться, но улучшать ее, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли

к другому лицу, - этого никто не стал бы делать. Вообще стимул к труду, та пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы сломлена. Каждый гражданин, - а между ними всегда были и будут тунеядцы - будет знать, что он имеет право заявить о желании получить землю, приложить свой труд к земле, затем, когда занятие это ему надоест, бросить ее и пойти опять бродить по белу свету. Все будет сравнено, - {но нельзя ленивого} равнять к трудолюбивому, нельзя человека тупоумного приравнять к трудоспособному. Вследствие этого культурный уровень страны понизится. Добрый хозяин, хозяин изобретательный, самою силою вещей будет лишен возможности приложить свои знания к земле.

Надо думать, что при таких условиях совершился бы новый переворот, и человек даровитый, сильный, способный силою восстановил бы свое право на собственность, на результаты своих трудов. Ведь, господа, собственность имела всегда своим основанием силу, за которую стояло и нравственное право. Ведь и раздача земли при Екатерине Великой оправдывалась необходимостью заселения громадных незаселенных пространств (*голос из центра: «Ого»*), и тут была государственная мысль. Точно так же право способного, право даровитого создало и право собственности на Западе. Неужели же нам возобновлять этот опыт и переживать новое воссоздание права собственности на уравненных и разоренных полях России? А эта перекроенная и уравненная Россия, что, стала ли бы она и более могущественной и богатой? Ведь богатство народов создает и могущество страны. Путем же переделения всей земли государство в своем целом не приобретает ни одного лишнего колоса хлеба. Уничтожены, конечно, будут культурные хозяйства. Временно будут увеличены крестьянские наделы, но при росте населения они скоро обратятся в пыль, и эта распыленная земля будет высылать в города массы обнищавшего пролетариата. Но положим, что эта картина неверна, что краски сгущены. Кто же, однако, будет возражать против того, что такое потрясение, такой громадный социальный переворот не отразится, может быть, на самой целостности России. Ведь тут, господа, предлагают разрушение существующей государственности, предлагают нам среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины для того, чтобы на этих развалинах строить новое, неведомое нам отечество. Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. Я думаю, что она обновится, улучшит свой уклад, пойдет вперед, но путем разложения не пойдет, потому что где

разложение – там смерть.

Теперь обратимся, господа, к другому предложенному нам проекту, проекту партии народной свободы. Проект этот не обнимает задачу в таком большом объеме, как предыдущий проект, и задается увеличением пространства крестьянского землевладения. Проект этот даже отрицает, не признает и не создает ни за кем права на землю. Однако я должен сказать, что и в этом проекте для меня не все понятно, и он представляется мне во многом противоречивым. Докладчик этой партии в своей речи отнесся очень критически к началам национализации земли. Я полагал, что он логически должен поэтому прийти к противоположному, к признанию принципа собственности. Отчасти это и было сделано. Он признал за крестьянином право неизменного, постоянного пользования землей, но вместе с тем для расширения его владений он признал необходимым нарушить постоянное пользование его соседей-землевладельцев. вместе с тем, он гарантирует крестьянам ненарушимость их владений в будущем. Но раз признан принцип отчуждаемости, то кто же поверит тому, что, если понадобится со временем отчуждать земли крестьян, они не будут отчуждены, и поэтому мне кажется, что в этом отношении проект левых партий гораздо более искренен и правдив, признавая возможность пересмотра трудовых норм, отнятие излишка у домохозяев. Вообще, если признавать принцип обязательного количественного отчуждения, то есть принцип возможности отчуждения земли у того, у кого ее много, чтобы дать тому, у кого ее мало, надо знать, к чему (это) поведет в конечном выводе – это приведет к той же национализации земли. Ведь если теперь, в 1907 году, у владельца, скажем, 3 000 десятин будет отнято 2 500 дес., за ним останется 500 дес. культурных. Но ведь с изменением понятия о культурности и с ростом населения он, несомненно, подвергается риску отнятия остальных 500 десятин. Мне кажется, что и крестьянин не поймет, почему он должен переселяться куда-то вдаль ввиду того только, что его сосед не разорен, а имеет по нашим понятиям культурное хозяйство. Почему он должен идти в Сибирь, и не может быть направлен – по картинному выражению – на соседнюю помещичью землю? Мне кажется, ясно, что и по этому проекту право собственности на землю отменяется; она изымается из области купли и продажи. Никто не будет прилагать свой труд к земле, зная, что плоды его трудов могут быть через несколько лет отчуждены. Докладчик партии прикидывал цену на отчуждаемую землю в среднем по 80 рублей на десятину в европейской России. Ведь это не

может поощрить к применению своего труда к земле, скажем, тех лиц, кто год перед тем заплатили по 200 – 300 рублей за десятину и вложили в нее свое достояние. Но между мыслями, предложенными докладчиком партии народной свободы, есть и мысль, которая должна сосредоточить на себе самое серьезное внимание. Докладчик заявил, что надо предоставить самим крестьянам устраиваться так, как им удобно. Закон не призван учить крестьян и навязывать им какие-либо теории, хотя бы эти теории и признавались законодателями совершенно основательными и правильными. Пусть каждый устраивается по-своему и только тогда мы действительно поможем населению. Нельзя такого заявления не приветствовать, и само правительство во всех своих стремлениях указывает только на одно: нужно снять те оковы, которые наложены на крестьянство, и дать ему возможность самому избрать тот способ пользования землей, который наиболее его устраивает. Интересно еще в проекте партии народной свободы другое провозглашаемое начало. Это начало государственной помощи. Предлагается отнести на расходы казны половину стоимости земли, приобретаемой крестьянами. Я к этому началу еще вернусь, а теперь укажу, что оно мне кажется несколько противоречивым провозглашаемому принципу принудительного отчуждения. Если признать принудительное отчуждение, то как же наряду с этим признать необходимость для всего населения, для всего государства, для всех классов населения придти на помощь самой нуждающейся части населения? Почему наряду с этим необходимо с этой целью обездолжить 130 000 владельцев, и не только обездолжить, но и оторвать их от привычного и полезного для государства труда? Но, может быть, господа, без этого обойтись нельзя?

Я не могу заявить, что в настоящее время опасность новых насилий, новых бед в деревне возрастает. Правительство должно учитывать два явления: с одной стороны несомненное желание, потребность, стремление широких кругов общества поставить работу в государстве на правильных законных началах и приступить к правильному новому законодательству для улучшения жизни страны. Это стремление правительство не может не приветствовать и обязано приложить все силы для того, чтобы помочь ему. Но наряду с этим существует и другое: существует желание усилить брожение в стране, бросать в население семена возбуждения, смуты, с целью возбуждения недоверия к правительству, с тем, чтобы подорвать его значение, подорвать его авторитет, для того, чтобы соединить воедино все враждебные правительству силы. Ведь с

этой кафедры, господа, была брошена фраза: «Мы пришли сюда не покупать землю, а ее взять» (*Голоса*: верно, правильно.) Отсюда, господа, распространялись и письма в редакцию, в деревни, письма, которые печатались в провинциальных газетах, почему я об них и упоминаю. Письма, вызывавшие и смущение, и возмущение на местах. Авторы этих писем привлекались к ответственности, но поймите, господа, что делалось в понятиях тех сельских обывателей, которым предлагалось, ввиду якобы насилий, кровожадности и преступлений правительства, обратиться к насилию и взять землю силой! **Национализация земли представляется правительству гибельною для страны, а проект партии народной свободы, то есть полуконфискация, полунационализация, в конечном выводе, по нашему мнению, приведет к тем же результатам, как и предложения левых партий.**

Где же выход? Думает ли правительство ограничиться полумерами и полицейским охранением порядка? Но прежде чем говорить о способах, нужно ясно себе представить цель, а цель у правительства вполне определена: правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, освободиться от тех теперешних условий жизни, в которых он находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому собственнику-хозяину правительство обязано помочь советом, помочь кредитом, то есть деньгами. Теперь же надлежит немедленно браться за незаметную черновую работу, надлежит сделать учет всем тем малоземельным крестьянам, которые живут земледелием. Придется всем этим малоземельным крестьянам дать возможность воспользоваться из существующего земельного запаса таким количеством земли, которое им необходимо, на льготных условиях. Мы слышали тут, что для того, чтобы дать достаточное количество земли всем крестьянам, необходимо иметь запас в 57 000 000 десятин земли. Опять-таки, говорю, я цифры не оспариваю. Тут же указывалось на то, что в распоряжении правительства находится только 10 000 000 десятин земли. Но, господа, ведь правительство только недавно начало обрывать земельный фонд, ведь Крестьянский банк перегружен пред-

ложениями. Здесь нападали и на Крестьянский банк, и нападки эти были достаточно веские. Была при этом брошена фраза: «Это надо бросить». По мнению правительства, бросать ничего не нужно. Начатое дело надо улучшать. При этом должно, быть может, обратиться к той мысли, на которую я указывал раньше, - мысли о государственной помощи. Остановитесь, господа, на том соображении, что государство есть один целый организм и что если между частями организма, частями государства начнется борьба: то государство неминуемо погибнет и превратится в «царство, разделившееся на ся». В настоящее время государство у нас хворает. Самой больной, самой слабой частью, которая хиреет, которая завядает, является крестьянство. Ему надо помочь. Предлагается простой способ: взять и разделить все 130 000 существующих в настоящее время поместий. Государство ли это? Не напоминает ли это историю тришкиного кафтана – обрезать полы, чтоб сшить из них рукава?

Господа, нельзя укрепить больное тело, питая его вырезанными из него самого кусками мяса; надо дать толчок организму, создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда организм осилит болезнь; в этом должно, несомненно, участвовать все государство, все части государства должны прийти на помощь той его части, которая в настоящее время является слабейшей. В этом смысл государственности, в этом оправдание государства, как одного социального целого. Мысль о том, что все его государственные силы должны прийти на помощь слабейшей его части, может напоминать принципы социализма государственного, который применялся не раз в Западной Европе, и приносил реальные и существенные результаты. У нас принцип этот мог бы осуществиться в том, что государство брало бы на себя уплату части процентов, которые взыскиваются с крестьян за предоставленную им землю.

Если бы одновременно был установлен выход из общины и создана таким образом крепкая индивидуальная собственность, было бы упорядочено переселение, было бы облегчено получение ссуд под надельные земли, был бы создан широкий мелиоративный землеустроительный кредит, то хотя круг предполагаемых правительством земельных реформ и не был бы вполне замкнут, но виден был бы просвет, при рассмотрении вопроса в полноте, может быть, и в более ясном свете представился бы и пресловутый вопрос об обязательном отчуждении.

Пора этот вопрос вдвинуть в его настоящие рамки, пора, господа, не видеть в этом волшебного средства, какой-то панацеи против всех бед. Средство это представляется смелым потому только, что в разорен-

ной России оно создаст еще класс разрозненных в конце землевладельцев. Обязательное отчуждение действительно может явиться необходимым, но, господа, в виде исключения, а не общего правила, и обставленным ясными и точными гарантиями закона. Обязательное отчуждение может быть не количественного характера, а только качественного. Оно должно применяться, главным образом, тогда, когда крестьян можно устроить на местах, для улучшения способов пользования ими земель. оно представляется возможным тогда, когда необходимо: при переходе к лучшему способу хозяйства – устроить водопой, устроить прогон к пастбищу, устроить дороги. Наконец, избавиться от вредной чересполосицы. Но я, господа, не предлагаю вам, как я сказал ранее, полного аграрного проекта. Я предлагаю вашему вниманию только те вехи, которые поставлены правительством.

Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! (*Аплодисменты справа*).

От редактора: речь приведена с незначительными сокращениями, не повлиявшими на стиль изложения.

П.Б. СТРУВЕ

ВЕЛИКАЯ РОССИЯ

ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ О ПРОБЛЕМЕ РУССКОГО МОГУЩЕСТВА

Посвящается Николаю Николаевичу Львову.

Русская мысль. 1908 г. №1.

Одну из своих речей в Государственной Думе, а именно программную речь по аграрному вопросу П. А. Столыпин закончил следующими словами: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».

Мы не знаем, оценивал ли г. Столыпин все то значение, которое заключено в этой формуле: «Великая Россия». Для нас эта формула звучит не как призыв к старому, а, наоборот, как лозунг новой русской государственности, государственности, опирающейся на «историческое прошлое» нашей страны и на живые «культурные традиции», и в то же время творческой и, как все творческое, в лучшем смысле революционной.

Обычная, я бы сказал, банальная точка зрения благонамеренного, корректного радикализма рассматривает внешнюю политику и внешнюю мощь государства как досадные осложнения, вносимые расовыми, национальными или даже иными историческими моментами в подлинное содержание государственной жизни, в политику внутреннюю, преследующую истинное существо государства, его «внутреннее» благополучие.

С этой точки зрения всемирная история есть сплошной ряд недоумений довольно скверного свойства.

Замечательно, что с банальным радикализмом в этом отношении совершенно сходится банальный консерватизм. Когда радикал указанного типа рассуждает: внешняя мощь государства есть фантом реакции, идеал эксплуататорских классов, когда он, исходя из такого понимания, во имя внутренней политики отрицает политику внешнюю - он, в сущности, рассуждает совершенно так же, как рассуждает В. К. Фон-

Плеве. Как известно, фон - Плеве был один из тех людей, которые толкали Россию на войну с Японией, толкали во имя сохранения и упрочения самодержавно-бюрократической системы.

Государство есть «организм» - я нарочно беру это слово в кавычки, потому что вовсе не желаю его употреблять в доктринальном смысле так называемой «органической» теории - совершенно особого свойства.

Можно как угодно разлагать государство на атомы и собирать его из атомов, можно объявить его «отношением» или системой «отношений». Это не уничтожит того факта, что психологически всякое сложившееся государство есть как бы некая личность, у которой есть свой верховный закон бытия.

Для государства этот верховный закон его бытия гласит: всякое здоровое и сильное, т. е. не только юридическое «самодержавие» или «суверенное», но и фактически самим собой держащееся государство желает быть могущественным. Быть могущественным, — значит обладать непременно «внешней» мощью. Ибо из стремления государств к могуществу неизбежно вытекает то, что всякое слабое государство, если оно не ограждено противоборством интересов государств сильных, является в возможности (потенциально) и в действительности (*de facto*) добычей для государства сильного.

Отсюда явствует, на мой взгляд, как превратна та точка зрения, в которой объединяется банальный радикализм с банальным консерватизмом или, скорее, с реакционерством, и которая сводится к подчинению вопроса о внешней мощи государства вопросу о, так или иначе понимаемом, его «внутреннем благополучии».

Русско-японская война и русская революция, можно сказать, до конца оправдали это понимание. Карой за подчинение внешней политики соображениям политики внутренней был полный разгром старой правительственной системы в той сфере, в которой она считалась наиболее сильной, в сфере внешнего могущества. А с другой стороны, революция потерпела поражение именно потому, что она была направлена на подрыв государственной мощи ради известных целей внутренней политики. Я говорю: «потому, что» но быть может, правильнее было бы сказать: «постольку, поскольку».

Таким образом, и в этой области параллелизм между революцией и старым порядком обнаруживается просто поразительный!

Рассуждение банального радикализма следует поставить вверх

ногами.

Отсюда получается тезис, который для слуха обычного русского интеллигента может показаться до крайности парадоксальным: оселком и мерилom всей так называемой «внутренней» политики, как правительства, так и партий должен служить ответ на вопрос: в какой мере эта политика содействует так называемому внешнему могуществу государства?

Это не значит, что «внешним могуществом» исчерпывается весь смысл существования государства; из этого не следует даже, что внешнее могущество есть верховная ценность с государственной точки зрения: может быть, это так, но это вовсе не нужно для того, чтоб наш тезис был верен. Но если верно, что всякое здоровое и держащееся самим собой государство желает обладать внешней мощью, - в этой внешней мощи заключается безошибочное мерило для оценки всех жизненных отправлений и сил государства, и в том числе и его «внутренней политики».

Относительно современной России не может быть ни малейшего сомнения в том, что ее внешняя мощь подорвана. Весьма характерно, что руководитель нашей самой видной «националистической» газеты в новогоднем «маленьком письме» утешается тем, что нас никто в предстоящем году не обидит войной, так как мы «будем вести себя смирно». Трудно найти лозунг менее государственный и менее национальный, чем это: «будем вести себя смирно». Можно собирать и копить силы, но великий народ не может - под угрозой упадка и вырождения - сидеть смирно среди движущегося вперед, растущего в непрерывной борьбе мира. Давая такой пароль, наша реакционная мысль показывает, как она изумительно беспомощна перед проблемой возрождения внешней мощи России.

Для того, чтобы решить эту проблему, нужно ее поставить правильно, т.е. с полной ясностью и в полном объеме.

Ходячее воззрение обвиняет русскую внешнюю политику, политику «дипломатическую» и «военно-морскую» в том, что мы были не подготовлены к войне с Японией. Мне неоднократно, во время самой войны на страницах «Освобождения» и позже, приходилось указывать, что ошибка нашей дальневосточной политики была гораздо глубже, что она заключалась не только в методах, но - что гораздо существеннее - в самих целях этой политики. У нас до сих пор не понимают, что наша дальневосточная политика была логическим венцом всей внешней по-

литики царствования Александра III, когда реакционная Россия, по недостатку истинного государственного смысла, отвернулась от Востока Ближнего.

В перенесении центра тяжести нашей политики в область, недоступную реальному влиянию русской культуры, заключалась первая ложь нашей внешней политики, приведшей к Цусиме и Портсмуту. В трудностях ведения войны, которая велась на огромном расстоянии и исход которой решался на далеком от седалища нашей национальной мощи море. Этими двумя обстоятельствами, вытекшими из ошибочного направления всей приведшей к войне политики, определилось наше поражение.

Те же самые обстоятельства, которые в милитарном отношении обусловили конечный итог войны, определили полную бессмысленность нашей дальневосточной политики и в экономическом отношении. Осушествовать пресловутый выход России к Тихому океану с самого начала значило, в смысле экономическом, - *travailler pour l'empereur de japon*. Успех в промышленном соперничестве на каком-нибудь рынке, при прочих равных, определяется условиями транспорта. Совершенно ясно, что, производя товары в Москве (подразумевая под Москвой весь московско-воладимировский промышленный комплекс), в Петербурге, в Лодзи (подразумевая под Лодзью весь польский регион), нельзя за тысячи верст железнодорожного пути конкурировать не только с японцами, но даже с немцами, англичанами и американцами. Гг. Абаза, Алексеев и Безобразов «открывали» Дальний Восток не для России, а для иностранцев. Это вытекало из географической «природы вещей». В своем заграничном органе я категорически против дискредитирования нашей армии на основании тех неудач, которые она терпела, указывая на то, что политика задала армии, как своему орудию, задачу, по существу невыполнимую (в особенности резко это было выражено в передовой статье №47 «Освобождения» от 2-го Мая 1904 года, где я писал: «русская армия побеждала не раз, но, если тут не победит, знайте, что перед ней была поставлена нелепая задача»).

Теперь пора признать, что для создания Великой России есть только один путь — направить все силы на ту область, которая действительно доступна реальному влиянию русской культуры. Эта область - весь бассейн Черного моря, т.е. все европейские и азиатские страны, «выходящие» к Черному морю.

Здесь для нашего неоспоримого хозяйственного и экономическо-

го господства есть настоящий базис: люди, каменный уголь, железо. На этом реальном базисе - и только на нем - неустанную культурную работу, которая во всех направлениях должна быть поддержана государством, может быть создана экономически мощная Великая Россия. Она должна явиться не выдумкой реакционных политиков и честолюбивых адмиралов, а созданием народного труда, свободного и в то же время дисциплинированного. В последнюю эпоху нашего дальневосточного «расширения» мы поддерживали экономическую жизнь Юга отчасти нашими восточными предприятиями. Отношение должно быть совершенно иное. Наш Юг должен излучать по всей России богатство и трудовую энергию. Из черноморского побережья мы должны экономически завоевать и наши собственные тихоокеанские владения.

Основой русской внешней политики должно быть, таким образом, экономическое господство России в бассейне Черного моря. Из такого господства само собой вытечет политическое и культурное преобладание России на всем так называемом Ближнем Востоке. Такое преобладание на почве экономического господства осуществимо совершенно мирным путем. Раз мы укрепимся экономически и культурно на этой естественной базе нашего могущества, нам не будут страшны никакие внешние осложнения, могущие возникнуть помимо нас. В этой области мы будем иметь великую защиту в союзе с Францией и в соглашении с Англией, которое, в случае надобности, может быть соответствующим образом расширено и углублено. Историческое значение соглашения с Англией, состоявшегося в новейшее время и связанного с именем А. П. Извольского, в том и заключается, что оно, несмотря на свою кажущуюся новизну по существу является началом возвращения нашей внешней политики домой, в область, указываемую ей и русской природой, и русской историей. С традициями, которые потеряли жизненные корни, необходимо рвать смело, не останавливаясь ни перед чем. Но традиции, которые держатся сильными, здоровыми корнями, следует поддерживать. К таким живым традициям относится вековое стремление русского племени и русского государства к Черному морю и омываемым им областям. Донецкий уголь, о котором Петр Великий сказал: «сей минерал, если не нам, то нашим потомкам весьма полезен будет», - такой фундамент этому стремлению, который значит больше самых блестящих военных подвигов. Без всякого преувеличения можно сказать, что только на этом черном «минерале» можно основать Великую Россию.

Из такого понимания проблемы русского могущества вытекают важные выводы, имеющие огромное значение для освящения некоторых основных вопросов текущей русской политики. Это относится как к вопросам внутреннеполитическим, в том числе так называемым «национальным», а в сущности «племенным», так и к вопросам внешнеполитическим, с вытекающими из них проблемами военно-морскими. Вся область этих вопросов освещается совершенно новым светом, если ее рассматривать под углом зрения Великой России. Этот угол зрения позволяет видеть лучше и дальше, чем обычные позиции враждующих направлений и партий.

Сперва - о политике общества, а потом о политике власти.

Политика общества определяется тем духом, который общество вносит в свое отношение к государству. В другом месте я покажу, как, в связи с разными влияниями, в русском обществе развивался и разливался враждебный государству дух. Дело тут вовсе не в революции и «революционности» в полицейском смысле. Может быть революция во имя государства и в его духе; таким революционером-государственником был Оливер Кромвель, самый мощный творец английского государственного могущества. Враждебный государству дух сказывается в непонимании того, что государство есть «организм», который, во имя культуры, подчиняет народную жизнь началу дисциплины, основному условию государственной мощи. Дух государственной дисциплины был чужд русской революции. Как носители власти до сих пор смешивают у нас себя с государством, - так большинство тех, кто боролся и борется с ними, смешивали и смешивают государство с носителями власти. С двух сторон, из двух, по-видимому, противоположных исходных точек, пришли к одному и тому же противогосударственному выводу.

Это обнаружилось в «забастовочной» тактике, усвоенной себе русской революцией в борьбе с самодержавно-бюрократическим правительством. Основываясь на успехе, который имела стихийная «забастовка», повлекшая за собой Манифест 17 октября, стали парализовать хозяйственной жизни упражнять как тактический прием. Что означала эта «тактика»? Что средством в борьбе с «правительством» может быть разрушение народного хозяйства. Известный манифест совета рабочих депутатов и примкнувших к нему организаций призывал прямо к разрушению государственного хозяйства.

Теперь должно быть ясно, что эти действия и лозунги не были «тактическими ошибками», «нерассчитанной» пробой силы и т. п. Они

были внушены духом, враждебным государству как таковому, потому что они подрывали не правительство, а, ради подрыва правительства, разрушали хозяйственную основу государства и тем самым государственную мощь.

Эти действия и лозунги были внушены духом, враждебным культуре, ибо они подрывали самую основу культуры, - дисциплину труда. Если можно в двух словах определить болезнь, которой поражен наш народный организм, то ее следует назвать исчезновением или ослаблением дисциплины труда. В бесчисленных и многообразных явлениях жизни обнаруживается эта болезнь.

Политика общества и должна начать с того, чтобы на всех пунктах национальной жизни противогосударственному духу, не признающему государственной мощи и с нею не считающемуся, и противокультурному духу, отрицающему дисциплину труда, противопоставить новое политическое и культурное сознание. Идеал государственной мощи и идея дисциплины народного труда - вместе с идеей права и прав - должны образовать железный инвентарь этого нового политического и культурного сознания русского человека.

Характеризуемая таким образом правильная политика общества есть проблема не тактическая, а идейная и воспитательная, на чем я уже настаивал в своей статье «Тактика или идеи?» (Русская Мысль, 1907 г., август). Великая Россия для своего создания требует от всего народа и, прежде всего, от его образованных классов признания идеала государственной мощи и начала дисциплины труда. Ибо созидать Великую Россию — значит созидать государственное могущество на основе мощи хозяйственной.

Политика власти начертана ясно идеалом Великой России. То состояние, в котором находится в настоящее время Россия, есть - приходится это признать с величайшей горечью - состояние открытой вражды между властью и наиболее культурными элементами общества. До событий революции власть могла ссылаться - хотя и фиктивно - на сочувствие к ней молчаливика-народа. После всего, что произошло, после первой и второй Думы, подобная ссылка невозможна. Разрыв власти с наиболее культурными элементами общества есть в то же время разрыв с народом. Такое положение вещей в стране глубоко ненормально: в сущности, оно есть тот червь, который всего сильнее подтачивает нашу государственную мощь. Неудивительно, что политика, которая упорно закрывает глаза на эту основную язву нашей государственности, вы-

нуждена давать лозунг: «будем вести себя смирно». Государство, которое разьедаемо такой болезнью, может сказать еще больше: »будем умирать». Но государство сильного, растущего, хотя бы больного народа не может умереть. Оно должно жить.

Положение осложняется еще разноплеменностью населения, составляющего наше государство. С одной стороны, если бы население России было одноплеменным, чисто русским, существование власти, находящейся в открытом разрыве с народом, вряд ли было бы возможно. С другой стороны, наших «инородцев» принято упрекать в том, что они заводчики революции. Объективно психологически следует признать, наоборот, что вся реакция держится на существовании в России «инородцев» и им питается. «Инородцы» - последний психологический ресурс реакции.

Из вопросов «инородческих» два самых важных - «еврейский» и «польский». Рассмотрим их с точки зрения проблемы русского могущества.

По отношению к вопросу «еврейскому» власть держится «политики страуса». Она не признает предмета, которого не желает видеть. Центр тяжести политического решения еврейского вопроса заключается в упразднении так называемой черты оседлости. С точки зрения проблемы русского могущества, «еврейский вопрос» вовсе не так несуществен, как принято думать в наших *soit-disant* консервативных кругах, пропитанных «нововременством». Если верно, что проблема Великой России сводится к нашему хозяйственному «расширению» в бассейн Черного моря, то для осуществления этой задачи и вообще для хозяйственного подъема России евреи представляют элемент весьма ценный. В том экономическом завоевании Ближнего Востока, без которого не может быть создано Великой России, преданные русской государственности и привязанные к русской культуре евреи прямо незаменимы в качестве пионеров и посредников. Таким образом, нам, ради Великой России, нужно создавать таких евреев и широко ими пользоваться. Очевидно, что единственным способом для этого является последовательное и лояльное осуществление «эмансипации» евреев. По существу, среди всех «инородцев» России - несмотря на все антисемитические вопли - нет элемента, который мог бы легче, чем евреи, поставленные на службу русской государственности, и ассимилировать с русской культурой.

С другой стороны, нельзя закрывать себе глаза на то, что такая

реформа, как «эмансипация» евреев, и может совершиться с наименьшим психологическим трением в атмосфере общего хозяйственного подъема страны. Нужно, чтобы создался в стране такой экономический простор, при котором все чувствовали бы, что им находится место « на пиру жизни». Разрешение «еврейского вопроса», таким образом, неразрывно связано с экономической стороной проблемы Великой России: «эмансипация евреев психологически предполагает хозяйственное возрождение России, а с другой стороны явится одним из орудий создания хозяйственной мощи страны.

«Польский вопрос», с точки зрения, с которой мы разбираем здесь вообще вопросы русской государственности, является вопросом политическим или международно-политическим *par excellence*. Что бы там ни говорили, в хозяйственном отношении Царство Польское нуждается в России, а не наоборот. Русским экономически почти нечего делать в Польше. Россия же для Польши — ее единственный рынок.

Принадлежность Царства Польского к России - есть для последней чистейший вопрос политического могущества. Всякое государство до последних сил стремится удержать свой «состав», хотя бы хозяйственных принудительных мотивов для этого не было. Для России, с этой точки зрения, необходимо сохранить в «составе» Империи Царство Польское. А раз оно должно быть сохранено в составе Империи, то необходимо, чтобы население его было довольно своей судьбой и дорожило связью с Россией, было морально к ней прикреплено. Это было бы важно, во всяком случае, для «внутреннего» спокойствия этой части Империи. Но эта сторона дела, с точки зрения проблемы могущества, должна отступать даже на задний план перед значением, принадлежащим польскому вопросу в виду того международного «положения», в которое, волею истории, вдвинута Россия.

Существует в широкой публике мнение, что на Царство Польское может посягнуть в удобный момент Германия. Это недоразумение, основанное на полном незнании с политическими отношениями Германии. Германии не нужно ни пяди земли, населенной польским народом. Для Германии было бы безумием ввести в свой немецкий государственный состав новые миллионы поляков - и без того Пруссия не может переварить Познани. Германия, с ее историческими традициями, не может превратиться в государство с сильным инородческим элементом. Более того, она не может превратиться в государство с преобладающим католическим населением. Вот почему Германия не может (и не

желает) поглотить немецкие земли Австрии. Такое поглощение изменит соотношение культурных сил, даст католикам решающую силу в Германии.

Польская политика Пруссии, с точки зрения международного положения Германии, представляет грубейшую ошибку, на что неоднократно указывал Ганс Дельбрюк в своих *Preussische Jahrbucher*. Эта ошибка проходит Германии даром только потому, что русское правительство ведет политику, с точки зрения государственной мощи и государственной безопасности России, еще более ошибочную. Пруссия стремится - *per fas et nefas* - германизовать Познань; идея руссификации Польши в том смысле, в каком немцы германизируют (или, вернее, стремятся германизировать) свои польские области, — совершенно несбыточная утопия. Денационализация русской Польши недоступна ни русскому народу, ни русскому государству. Между русскими и поляками на территории Царства Польского никакой культурной или национальной борьбы быть не может: русский элемент в Царстве представлен только чиновниками и войсками.

Обладание Царством Польским есть для России вопрос не национального самосохранения, а политического могущества.

Польская политика России, с этой точки зрения, должна быть совершенно ясна. Опираясь на экономическую прикреплённость Польши к России, мы должны воспользоваться ее принадлежностью к Империи для того, чтобы через нее скрепить наши естественные связи со славянством вообще и западным в частности. Польская политика должна служить нашему сближению с Австрией, которая теперь является по преимуществу державой славянской. Либеральная польская политика в огромной степени подымет наш престиж в славянском мире и психологически совершенно естественно создаст, впервые в истории, моральную связь между нами и Австрией, как государством.

В экономическом отношении мы будем даже конкурентами на Ближнем Востоке, но эта конкуренция будет смягчаться и сглаживаться морально-политической солидарностью.

Такова та положительная миссия, которая принадлежит разумной польской политике России в деле укрепления ее внешней мощи. Но гораздо важнее ее отрицательная миссия или функция. Всякое здоровое, сильное государство - сказали мы выше - желает быть могущественным. Австрия, с великой избирательной реформой, вступила в период своего внутреннего укрепления, которое будет означать и рост внешней

мощи Австро-Венгрии. Славянский характер Австрии вовсе не гарантирует нас от нападения с ее стороны, если мы будем оставаться слабы, так же как культурное и политическое преобладание германского элемента в Австрии до 1866 г. не спасло ее от разгрома Пруссией. Если русская Польша будет по-прежнему очагом недовольства, имеющим теснейшую морально-культурную связь с австрийскими поляками, если Россия, вместо того, чтобы экономически и культурно укрепляться в бассейне Черного моря, будет строить ни для чего не нужный линейный флот, предназначенный для Балтийского моря и Тихого океана, в один прекрасный день в Европе на западной границе может назреть для нас великая беда.

Теперь еще идея борьбы не на живот, а на смерть с поляками торжествует в Пруссии, но дни ее сочтены. Идея эта совершит свой круг и - хотя бы ради сохранения своей entente с Австрией - Германия вынуждена будет отказаться от своей польской политики. Не следует также упускать из виду, что вообще крушение реакции и торжество либерализма во внутренней политике Германии должно наступить с безошибочностью естественного процесса. В этот момент, если мы не разрешим своего польского вопроса, не создадим во всей стране действительного, прочного примирения власти с народом, мы можем и неизбежно получим жестокий удар уже не с Востока, а с Запада. У нас в широкой публике, а также в военных сферах существует к Австрии такое же легкомысленное отношение, какое до войны было к Японии. Мы склонны упиваться суворовской фразой: «австрийцы имеют проклятую привычку быть всегда битыми», и можем на собственном теле испытать всю условность подобных афоризмов. Неудачная война с Австрией - при недоброжелательном нейтралитете Германии - в лучшем случае будет иметь для России своим результатом потерю Царства Польского, которое отойдет к Австрии, и потерю Прибалтийского края, который отойдет к Германии. Если обладание русской Польшей не нужно и совершенно не интересно для Германии, то этого нельзя сказать о Прибалтийском крае. Войдя в состав Германской империи, он сравнительно легко может быть завоеван или, в известном смысле, отвоеван для германской культуры. Латыши и эсты будут либо германизированы, либо оттеснены на территорию России, куда они и без того до сих пор выселяются в значительном числе.

Я вовсе не сомневаюсь в полнейшем миролюбии Германии и Австрии и их правительств. Но следует же понимать, что столкновения

государств между собой в основе вытекают из конфликтов интересов и из соотношений могущества, а вовсе не из международного бреттерства правительств. Мы должны были бы научиться этому из опыта нашей войны с Японией. Не говоря уж о Бисмарке, даже Наполеон III не был вовсе политическим бреттером.

Можно сказать, что все нарисованные нами перспективы суть только комбинации и предположения. Но то, что слабые государства делаются добычей государств более сильных, если они не ограждены противоборством их интересов, это есть не комбинация, а своего рода «закон истории». А в столкновении слабой России с сильной Австро-Венгрией, при недоброжелательном к нам нейтралитете заинтересованной в нашем поражении Германии, ни один палец в Европе не пошевелится в нашу защиту.

Может ли явиться повод для такого столкновения? Мы ведь в наилучших отношениях и с Австрией, и с Германией. С первой мы вместе действуем на Балканах, как главная великая держава, заинтересованная в турецких делах. Неужели из кооперации может возникнуть конфликт? По этому поводу достаточно на справку напомнить, что конфликту Пруссии с Австрией предшествовала кооперация этих государств против Дании, что войне Японии с Россией предшествовала наша с Японией кооперация против Китая.

Повод всегда найдется, если будет продолжаться ослабление государственной мощи России, которое есть неизбежный результат того, что за разрухой японской войны и революции следует не возрождение страны конституцией, а разложение ее реакцией.

Сигнализировать вовремя эту опасность перед общественным сознанием есть патриотический долг независимой русской печати. Мы можем ошибаться в том или в другом конкретном указании, но суть нашего анализа - увы! - соответствует действительному положению вещей.

Из международно-политических перспектив, которые мы начертали, вытекает тот вывод, что наша «внутренняя» политика должна быть поставлена так, чтобы - без ущерба для наших интересов, нашей мощи и нашего достоинства - психологически устранить самую возможность войны с Австро-Венгрией или (худший для нас случай!) войны с Австро-Венгрией и Германией. Конечно, Россия может просто добровольно сделаться вассалом или сателлитом Германии, но только - пожертвовать исторической миссией, мощью и достоинством государства. Такой вы-

ход будет мнимым решением проблемы Великой России. Ключ к действительному ее решению лежит в урегулировании русско-польских отношений. Тут обычно выдвигается пугало Германии. Германия-де не потерпит либерального решения польского вопроса. Не говоря уже о том, что принципиально никакое вмешательство в наши внутренние дела не терпимо, гораздо важнее то, что одна Германия без Австро-Венгрии ничего против России предпринять не может. Против Германии, если она не в союзе с Австро-Венгрией, Россия, даже без всяких формальных союзов и соглашений *ipso facto* существующего противоборства интересов, имеет за себя и Францию (первоклассная сухопутная держава!), и Англию (решающая сила на море!).

Из сказанного выше следует, что неурегулирование польского вопроса, стоящего вообще в связи с реакционным характером нашей внутренней политики, ставит нас совершенно *a la merci* Германии. Мы либо вынуждены в международных делах и внутренней политике слепо, как вассалы, следовать ей, либо будем всегда находиться под угрозой того, что в удобный и желательный для себя момент она выдвинет против нас Австро-Венгрию. Не следует - повторяем - в этом случае предаваться иллюзиям, что славянский характер Австро-Венгрии гарантирует нас от такого оборота дел. Пока мы не ведем настоящей славянской политики, пока мы держим Польшу в «подвластном» положении, пока мы не исполняем своей исторической миссии на Черном море, где находится естественная экономическая основа Великой России, - Австро-Венгрия, даже как славянская держава или, вернее, именно как таковая, обязана стремиться к «расширению» за наш счет.

А Германия из двух возможностей, каковыми являются: 1) одновременный политический рост двух славянских держав, Австро-Венгрии и России, и 2) возвышение на счет России Австро-Венгрии, во всяком случае менее славянской, гораздо ближе стоящей к германскому миру державы - из этих двух политических возможностей Германия обязана, повинаясь здравому государственному эгоизму, выбрать вторую, для нее гораздо более выгодную.

Не следует также думать, что Германия, держава консервативная со строго «легитимными» традициями, будет - вопреки своим государственным интересам - церемониться с консервативной Россией. С «легитимными» традициями современной Германии дело обстоит весьма своеобразно. Несмотря на весь свой прусский легитимизм, Бисмарк упразднил несколько весьма легитимных немецких тронов - не следует

забывать, что и гессен-дармштадский трон уцелел в разгроме 1866 г. исключительно благодаря заступничеству Александра II - и в борьбе с Австрией не останавливался даже перед перспективой союза с венгерской революцией.

Всякая истинно государственная политика, хотя бы она и была во внутренних вопросах весьма консервативна, в борьбе за могущество не останавливается перед такими мелочами, как «легитимность».

Из данного нами освещения вопроса о великой России вытекают совершенно ясные выводы относительно волнующей в настоящее время общество морской проблемы. В войне с Австрией или с Австрией и Германией вместе такой флот нам ни в чем существенном не поможет. Ни для Германии, ни еще менее для Австрии действия на море против нас не будут иметь решающего значения.

Отсюда ясно, что балтийский флот, как это ни странно, всего менее нужен России.

Великой России, на настоящем уровне нашего экономического развития, необходима сильная армия и такой флот, который обеспечивал бы нам возможность десанта на любом пункте Черного моря и в то же время абсолютно обеспечивал бы нас от вражеского десанта в этой области. Другими словами, мы должны быть господами на Черном море. Совершенно ясно, что это осуществимо только при том условии, если мы из числа крупных морских держав будем иметь своим противником там, в худшем случае, одну Германию, против которой у нас будет всегда «прикрытие» в лице Англии и Франции. Против Англии мы и там бороться никогда не сможем. Но ведь вообще реальная политика утверждения русского могущества на Черном море неразрывно связана с прочным англо-русским соглашением, которое для нас не менее важно, чем франко-русский союз. Вообще это соглашение и этот союз суть, безусловно, необходимая внешняя гарантия создания Великой России.

Внутреннее содержание этой проблемы может быть дано только сочетанием правильной внешней политики с разумным разрешением наших внутренних вопросов.

Интеллигенция страны должна пропитаться тем духом государственности, без господства которого в образованном классе не может быть мощного и свободного государства.

«Правящие круги» должны понять, что если из великих потрясений должна выйти великая Россия, то для этого нужен свободный, творческий подвиг всего народа. В народе, пришедшем в движение, в наро-

де, конституция которого родилась вовсе не из навеянного извне радикализма, а из потрясенного тяжелыми уронами государства патриотического духа, - в этом народе нельзя уже ничего достигнуть простым приказом власти. Из скорбного исторического опыта последних лет народ наш вынес понимание того, что государство есть личность «соборная» и стоит выше всякой личной воли. Это огромное и неистребимое приобретение и оправдание пережитых нами «великих потрясений».

Теперь задача истинных сторонников государственности заключается в том, чтобы понять и расценить все условия, создающие мощь государства. Только государство и его мощь могут быть для настоящих патриотов истинной путеводной звездой. Остальное - «блуждающие огни».

Государственная мощь невозможна вне осуществления национальной идеи. Национальная идея современной России есть примирение между властью и проснувшимся к самосознанию и самостоятельности народом, который становится нацией. Государство и нация должны органически срастись.

В новейшей европейской истории есть замечательный и поучительный пример такого сращения.

В 60 - х годах между нацией и властью в руководящей германской державе Пруссии возгорелся жесточайший конфликт, грозящий политической катастрофой. Власть, благодаря Бисмарку, вышла победительницей из этого конфликта, овладев национальной идеей, чего не сумели сделать ни Стюарты в Англии, ни Бурбоны во Франции. Победа власти, однако, не была ни унижением народа, ни разрушением права. Величие Бисмарка, как государственного деятеля, заключалось, между прочим, в том, что он никогда не смешивал государства ни с какими лицами. Власть и народ примирились на осуществлении национальной идеи, и объединенная Германия, утверждавшая свою внешнюю мощь, сумела органически сочетать исторические традиции с новыми государственными учреждениями на демократической основе всеобщего избирательного права.

Объединение Германии под предводительством Пруссии, которая выбрасывает Австрию из Германии и затем набрасывается на Францию и отнимает у нее завоевания Людовика XIV, было рядом событий, в которых и современник, и всякий изучающий их теперь не может не чувствовать какой-то роковой силы.

У Бисмарка, когда он ковал германскую Империю, вовсе не было

готового, до подробностей выработанного плана. Творец событий, он в то же время был влеком ими. Но он, по крайней мере, в каждый момент выполнял свою волю и осуществлял дорогую ему идею. О Вильгельме I нельзя сказать этого. Прусский король, если бы дела совершались по его воле, никогда бы не был германским императором. Но он должен был стать им. Самая незаметная и в то же время самая трудная и почетная борьба, которую вел Бисмарк во имя государства, велась им не против оппозиции парламента, не против внешнего врага и его дипломатии, а против главы государства. И он, а с ним вместе германская государственность оказались победителями в этой борьбе.

Такова сила национальной идеи, нашедшей себе орудие в государстве, которое стремится увеличить свою мощь. Или, наоборот, такова сила государства, поставившего себе на службу национальную идею. Это - две силы, которые, для того, чтобы перевернуть судьбы народов, должны найти одна другую и действовать в полном союзе.

Часто смотрят на эти события с «отвлеченной» точки зрения. Революционеры видят в объединении Германии не торжество национальной идеи, а лишь возвышение консервативной прусской державы - так понимали события многие старые немецкие радикалы 40 гг.; так оценивают их до сих пор некоторые социал-демократы. Легитимисты видят в этом объединении, поглотившем несколько легитимных тронов и в современной Германии утопившем патриархально-консервативную Пруссию с ее старыми государственными традициями, не столько торжество государственности, сколько победу странного, противоречивого союза военно-монархической мощи с революционной идеей - так смотрели на эти события не только ганноверские легитимисты, так чувствовали и представители старого прусского духа, вроде генерала Роона и даже самого Вильгельма I.

Первые заблуждаются в том, что не видят связи национальной идеи с государственной мощью. Вторые фантазируют о возможности поставить государственной мощи, окрыленной национальной идеей, «легитимные» и «традиционные» границы.

Государство должно быть революционно, когда и поскольку этого требует могущество. Государство не может быть революционно, когда и поскольку это подрывает могущество.

Это «закон», который властвует одинаково и над династиями, и над демократиями. Он низвергает монархов и правительства, и он же убивает революции.

Понять это — значит понять государство в его истинном существе, заглянуть ему в лицо, которое, как лик Петра Великого, по слову величайшего русского поэта, «прекрасно» и «ужасно».

Только если русский народ будет охвачен духом истинной государственности и будет отстаивать ее смело в борьбе со всеми ее противниками, где бы они не укрывались, — только тогда, на основе живых традиций прошлого и драгоценных приобретенных живущих и грядущих поколений, будет создана — Великая Россия.

ГРАФ С.Ю. ВИТТЕ. ОПЫТ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Граф С. Ю. Витте представлял историческую фигуру, настолько выразительную, что о нем не нужно и нельзя писать некролога. Некролог обычно — это собрание умолчаний, плод ретушировки, продиктованный особым чувством невыясненности того лица, оценку которого после все примиряющей смерти, приходилось давать.

О Витте нельзя спорить и совершенно не нужно писать с умолчаниями и экивоками. Это была сложная и противоречивая фигура; но все различные уклоны, складки и противоречия ее были обнажены, и именно в их обнаженности, если угодно, заключалось в значительной мере своеобразие этой исторической фигуры. Далее, значение людей, становящихся крупными государственными деятелями, часто определяется вовсе не размером личности, а тем, что они попали в определенную историческую минуту на определенную полочку. Задача и обстановка творят не только человека, они часто создают все значение человека. Исторические деятели часто в буквальном смысле сосуд, в который по какому-то капризу влилось определенное содержание. Часто история выбирает своим орудием если не первого попавшегося человека, то просто того из многих, которые были «под рукой». Витте совсем не принадлежал к таким случайным людям истории: его значение связано с размерами его личности, есть его собственное, а не заимствованное значение.

В истории русского управления мало фигур можно поставить рядом с Витте и одного только человека можно поставить выше его: Сперанского. Но и то не по личной даровитости, которою Витте превосхо-

дил всех русских государственных деятелей, обремененных властью, начиная с Александровской эпохи и кончая нашими днями. Витте был, несомненно, гениальным государственным деятелем, как бы ни оценивать его нравственную личность, его образованность и даже результаты его деятельности. Более того: все личные недостатки Витте лишь подчеркивают его политическую гениальность. Подчеркивается она тем, что, как государственный деятель, Витте не обладал никакими знаниями, был, вопреки довольно распространенному противоположному мнению, попросту говоря, необразованным человеком. Экономический «гений» Витте следует искать не в плохих трактатах по политической экономике, написанных чужими руками, а в государственном творчестве, свободном от пут доктрин и с какой-то державной легкостью разрешавшем трудности, перед которыми останавливались мудрецы и знатоки. Способность Витте понимать самые трудные государственные вопросы, находить самые разумные решения в запутанных областях управления, выбирать нужных людей определялась гениальной интуицией рожденного государственным деятелем и администратором, а вовсе не опытом и не каким-либо «знанием». Его тяготение к науке и ученым, его широко либеральная реформа высшего образования, памятником которой навсегда останутся политехнические институты, была выражением гениального инстинкта и пиетета к науке человека, который сам всегда стоял вне науки и ей был глубоко чужд.

Нравственная личность Витте - следует прямо сказать - не стояла на уровне его исключительно государственной одаренности.

И не говорю об его свойствах как частного человека, которых я не знаю. Но нравственная личность государственного человека проявляется и в политической деятельности. Витте не был просто оппортунистом, его гибкость и приспособляемость шли гораздо дальше того делового приспособления к условиям места и времени, которое необходимо в практической политике.

Он был по своей натуре беспринципен и безыдеен. Политическая история знает много крупных до гениальности политических деятелей, изменивших свои взгляды и соответственно этому переходивших на новые пути. Гладстон, Бисмарк, Чемберлен, Победоносцев принадлежат к числу классических примеров политических превращений. В деятельности Витте никогда не было идейного центра, к которому он морально тяготел бы. Витте не изменял в этом смысле взглядов и принципов, ибо их у него не было вовсе. Витте никогда не был ни либера-

лом, ни консерватором. Но иногда он был намеренно реакционером: иногда же присоединялся к силам прогрессивным. Его стихией, однако, была область государственного строительства, политически и нравственно безразличного. Когда он стал лицом к лицу с общими вопросами политики, он не способен был восходить к моральным основам таких вопросов. Оттого такие великие вопросы русской жизни, как община, университет, земство, так легко превращались под его руками в материал для интриг, для «ходов», при которых какие-либо общие начала или даже интересы родины и народа стушевывались перед борьбой за власть и влияние. В Витте не было ни грана идеализма и в его гибкости была изрядная доля органического цинизма. Вот почему могло сложиться и широко укорениться представление, что от Витте можно всего ожидать. Отсутствие морально-идейного стержня у Витте было особенно поразительно именно в связи с его политической гениальностью. Это оно налагало на всю его фигуру какой-то почти зловещий отпечаток.

В сущности, ту же самую черту можно выразить и охарактеризовать еще с другой стороны. Одним из творцов конституционной России, сам Витте был совершенно лишен всякого чувства права. Мы знаем, что Сперанский под ударами судьбы согнулся и согнул свое правосознание. Но Сперанский не только как юрист, а как моральная личность в самые тяжелые времена был напоен чувством идей права. Этого Витте совсем не было дано. И не потому, повторяем, что он не был юристом, а потому, что права и правды Витте никогда не чувствовал, в них никогда не жил.

В других условиях государственной жизни атмосфера права обнимала бы со всех сторон такого государственного деятеля, как Витте, и самый вопрос о том, было ли у него чувство права, не возникал бы вовсе. Но в России конца XIX и начала XX века нужно было и нужно до сих пор вести борьбу за право. Витте душой никогда не мог вести такой борьбы, и в этом громадное отличие ответственного автора манифеста 17 октября от автора плана государственного преобразования России. Сперанский, поскольку он начерчивал новое право, делал это смело, упреждая свое время, дерзновенно прозируя в будущее. Витте, как гениальный делец, только раскрыл затворы для чуждого ему бурного потока нового правосознания и правообразования, который - это было уже явно - нельзя было остановить и который поэтому необходимо было канализировать.

Для правового творчества необходимы подъем и полет особого

рода, не просто деловая и делаческая гениальность. И этого подъема и полета, несмотря на всю изумительную одаренность Витте, ему не было дано.

Но понимать и оценивать Витте нужно именно в масштабе таких сопоставлений. Всякие современники склонны создавать мнимые, дутые величины и рядом с этим пременьшать свое время именно в его самых крупных проявлениях. По этой психологической причине Витте недостаточно оценивался у нас при жизни. Его слабости и недостатки скрадывали совершенно необычные размеры его личности. Смерть сразу может и должна в этом отношении внести должные поправки и пролить истинный свет.

Витте не только был исключительно одаренным государственным деятелем. Он вложил свою личность в великие события и воплотил свою энергию в больших делах. Преобразование тарифного дела, управление русским финансами в сложную эту окончательного перехода всего русского народного хозяйства на капиталистический путь, самая смелая и грандиозная валютная реформа, когда-либо произведенная, введение казенной продажи вина и вообще подъем техники финансового управления до чрезвычайно высокого уровня, опрос России об ее нуждах через достопамятные сельскохозяйственные комитеты, Портсмутский мир, манифест 17 октября, ряд важнейших законов 1905 и 1906 гг. - все это и многое другое связано с именем Витте в русской истории.

Витте потерпел неудачу в деле осуществления манифеста 17 октября. Но как бы строго ни судить его деятельность в трудную эпоху между обнародованием великого манифеста и созывом первой Государственной Думы, - не в ошибках Витте, конечно, ключ к неудаче этих первых шагов нашей конституционной жизни.

Бесспорно, он сделал много ошибок, но и без них переход к новому государственному строю был соединен с трудностями непреодолимыми. Великая реформа 1905 года была неизбежна, но она нашла и власть, и народ неподготовленными к принципиально новым отношениям. Сам Витте не умел даже технически приступить к разрешению новых задач совершенно иного порядка, чем задачи того чисто бюрократического управления, в делах которого он искуссился. Между провозглашением начал правового государства и их осуществлением в практике взаимодействия народа и власти лежало огромное расстояние, воздвигались препятствия, которые никакая личная воля не могла побо-

роть. Правда, Витте не только не преодолел трудностей, он в значительной мере потерялся в них и среди них. Тут обнаружились роковые пределы, в которые не могла быть заключена деятельность Витте, как гениального администратора-практика старого абсолютного порядка и как человека, которого гений правды совершенно не коснулся.

Витте понял необходимость коренного преобразования нашего государственного строя, но, как человек старого порядка, он в новых условиях, рожденных в буре и грозе, не мог разом и победоносно разобраться. Состояние, в котором находился Витте после 17 октября 1905 года, было состоянием недоумения, растерянности и пассивности. Между тем только активная борьба направо и налево и чрезвычайная творческая активность управления могли бы тогда кристаллизовать и в правительстве, и в обществе дееспособные элементы, которые были бы в силах осуществить властвование в духе новых начал. В этой обстановке Витте положительно не нашелся. Но никто не может сказать, что даже если бы он в ней нашелся, его деятельность увенчалась бы успехом. Конечно, активность Витте в эпоху с октября 1905 года по апрель 1906 года, может быть, иначе направила бы развитие некоторых наших политических отношений, но основных трудностей, заключавшихся в самой стремительности перехода от старого порядка к новому, даже она не смогла бы преодолеть. Ведь ошибки и неподготовленность цвета русской оппозиции - кадетов - в эту эпоху были вряд ли меньше, чем ошибки и неподготовленность власти и правительства.

Фигура Витте стоит на рубеже двух эпох русской истории и принадлежит им обеим. Размеры этой фигуры таковы, что для нее в известном смысле разом наступила история, и в самый день смерти стала принципиально возможна справедливая оценка. При такой оценке нужны большие масштабы. Исчез с исторической сцены человек, исключительная одаренность которого только подчеркивается его слабостями и недостатками, - несмотря на все свои очень большие недостатки и весьма крупные ошибки, Витте вложил в дела великого исторического значения не как случайная фигура, которой выпал счастливый жребий, а как человек, отмеченный государственным призванием.

П.Б. СТРУВЕ

СКОРЕЕ ЗА ДЕЛО!

1905 ГОД

«Много дренажа требуют наши черноземы». Эти слова великого русского публициста, сказанные сорок лет тому назад, - увы! - до сих пор звучат жизненной правдой. В том возбуждении, которое охватило страну, еще не свободную, но уже освобождающуюся, господствует страшная трагическая путаница. Культура и бескультурие сталкиваются друг с другом в причудливых, хаотических сочетаниях. Проклятая сложность положения сковывает мысль и запечатывает уста. Но ужасающая серьезность этого положения обязывает бесстрашно продумать его до конца и смело выговорить свою мысль.

Что всего страшнее для страны? Что ей всего нужнее? Вот два вопроса.

Общество пугают требованиями, выставленными крайними партиями. Словом, как таковые, в настоящее время есть вещь самая неважная, самая безобидная. И те, кто пугает ими, говорят сущие пустяки. Не страшна там и реакция бравых и не бравых генералов самодержавия. Страшна прежде всего хозяйственная дезорганизация страны, потому что на этой почве может вырасти реакция, застой и падение культуры.

В виду этого стихийно надвинувшегося врага все мы обязаны отбросить доктринальные формулы, партийные мерки, кружковые пристрастия и антипатии и начать рассуждать по существу. По существу стране нежна равная для всех свобода и равные политические права всех. По существу стране нежно нормальное течение хозяйственной жизни и прочные социальные реформы. В сумятице хозяйственной дезорганизации могут быть забыты и действительно забываются и право и права. «Черная сотня» есть живое ужасное воплощение этого забвения. «Черно-сотенцы» попирают чужое право, и топчут в грязь, и заливают кровью всякие права, даже свои собственные. Всего менее понятно, что хозяйственную дезорганизацию страны готовы как будто возвести в принцип социалисты. Социализм есть идея хозяйственной организации, идея социального порядка. И наш долг сказать: в хаосе хозяйственной дезорганизации могут быть смяты и раздавлены не только

социалисты - самая идея социализма может быть на долгое время погублена. Об этом стоит задуматься социалистам.

Октябрьская политическая забастовка была великим событием и делом (если только она была вообще чьим-либо делом). Русские люди смело могут назвать ее достославной забастовкой. Но не будем себе делать кумира, ни «иноного подобия» из этого могучего разрушительного орудия. Сегодня спасительная и достославная, завтра забастовка может явиться губительной и преступной. Забастовка минувшего была велика в своей стихийной силе. Но постараемся, но напряжем свои силы для того, чтобы поскорее выйти из-под власти стихий. Из народной стихии должна скорее родиться нация, сознательная и самоопределяющаяся, нация, как совокупность свободных и соглашающихся между собой граждан. Создать нацию и пронести чрез тяжелый кризис русскую культуру не умаленною и ослабленною, а умноженною и укрепленною - вот что должно теперь быть лозунгом всех русских граждан. Если это так, то нам необходимо как можно скорее покончить с процессом культурной дезорганизации, охватившим наше высшее и среднее образование. Молодежь возбуждена, она не может учиться, говорят нам. Пусть так, но мы обязаны сказать молодежи, что она не может, не должна своего возбуждения возводить в принцип отношения к науке и научной культуре. Диктатура политики над культурой несостоятельна, потому что революция не может стать противокультурной, не рискуя подорвать самое себя. Вот почему мы во имя революции должны протестовать и активно бороться против методов революционизма, подрывающих революцию. Культура никогда, даже в самые революционные моменты, не бывает несущественной мелочью.

В атмосфере русской жизни висит диктатура: диктатура тех, кого именуют «черной сотней», и тех, кто себя именует «революционным пролетариатам». Мы скажем и тем и другим, что в стране не нужна и противна всякая диктатура, что она нуждается, что она жаждет только права, свободы и хозяйственного возрождения. И никому так не нужно хозяйственное возрождение, как именно тем, кто стихийным возбуждением вовлечен в процесс экономической дезорганизации и социальной анархии: рабочему классу и крестьянству. Фабриканты могут уйти от хозяйственной дезорганизации, заколотив фабрики и переселившись за границу вместе со своими капиталами. Рабочие и крестьяне со своими женами и детьми могут уходить от нее только - в могилу. Мы должны прочувствовать этот ужасный баланс жизни и смерти для того, чтобы

смело стряхнуть с себя гипнотизирующее иго формул и фраз и рассуждать и действовать по существу.

Время не терпит. Мы должны сейчас же активной организационной и творческой работой вступить в борьбу с хозяйственной дезорганизацией страны, в чем бы она не выражалась, с идеями и вождельниками диктатуры и захвата, откуда бы они ни исходили. Ни о каком компромиссе направо от права, свободы и политического равенства при этом не может быть и речи. Крайние левые партии мы не станем убеждать бесполезными речами. Мы должны поставить их лицом к лицу с нашими действиями, - единственный метод, гарантирующий успех. Идти в массы и дать им свободную, не навязанную политическую и экономическую организацию - таков должен быть наш тактический лозунг. Мы понесем в массы программу политической демократии и широких демократических социальных реформ. Эта программа диктуется не партийными соображениями, а всеми интересами нации и культуры.

Время страшно серьезное, критическое. Мы не должны ни дать себя смять в общем переполохе, ни забиваться в угол «избранной» и привилегированной интеллигенции, отрезанной от народа. Мы должны вмешаться в самую гущу жизни, смело и твердо заняв в ней свою позицию, не поддаваясь никаким внушениям ни справа, ни слева.

Скорей за дело!

МИХАИЛ ОСИПОВИЧ МЕНЬЩИКОВ

КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ

«Новое время», 10 февраля 1914г.

Красивая жизнь - великое дело; едва ли есть страна в большей степени, чем Россия, нуждающаяся в том, чтобы укреплять в себе среди скифской дичи и глуши начала великих цивилизаций, набала вкуса и изящества во всем, начала законченности и сдержанности, которых не признает вульгарный цинизм. О красивой жизни мечтает не один народ наш, но и заметно одичавшее общество. «Красота спасет мир», - говорил Достоевский, достаточно настрадавшийся от безобразия русской действительности. Но служение красоте, как служенье муз - «не терпит

суеты, прекрасное должно быть величаво». Размениваясь на мелочи и отзываясь на жаждающее рекламы тщеславие, талатливый редактор «Столицы и Усадьбы» рискует многое красивое подменить сомнительным.

Того же формата, на такой же бумаге и со столь же роскошными иллюстрациями выходит и второй еженедельник - «Армия и Флот» А. Д. Далматова. И тут наряду с внешней роскошью много неприбранного и торопливого, что объясняется первым дебютом. Первый номер журнала открывается очень наивною статьею г. К. Дружинина. Почтенный автор пытается переложить вину наших поражений на Востоке с генералов на штатских людей. «Отсутствие воинского духа и всякой воинственности в среде русского народа и в верхах его интеллигенции, вызвавшее полный индифферентизм России к несчастной судьбе действовавшей на Дальнем Востоке ее военной силы, и было главною причиною ее неудачи и бесславного мира». Конечно, это вздор, притом явно оскорбительный для России. Не «полный индифферентизм» переживала тогда наша родина, следя за целым рядом поражений своей когда-то непобедимой армии, а жгучие страдания, заставлявшие многих тогда стонать от боли, и плакать, и колотиться головою об стену. Нашим неудачным генералам легко теперь сваливать вину с больной головы на здоровую, но кто же им поверит хотя бы на минуту, что в среде русского народа замечается отсутствие воинского духа и всякой воинственности. Когда были Суворовы, Кутузовы, Багратионы - русская армия заставляла дрожать Европу и Азию, а ведь она была набрана из того же народа, будто б лишенного всякой воинственности. Когда же во главе армии появились генералы милютинской школы, армия не выиграла, точно на смех, ни одной победы. «А теперь, говорим смело, - заявляет г. Дружинин, - стоит только русскому народу во главе со своей интеллигенцией, т. е. с тем, что мы называем обществом, постигнуть необходимость жить интересами армии и флота, заботиться о них, готовить для них настоящий боевой материал, - и никакие вооруженные силы наших вероятных противников не могут быть страшны России.»

Боже, как это не умно! Г. Дружинин рекомендует не военному ведомству, а нам русскому народу и обществу, то есть крестьянам, помещикам, купцам, священникам и пр. и пр., — «жить интересами армии и флота» (точно у нас никаких своих интересов и занятий нет), «готовить для них настоящий, боевой материал». Но, позвольте, как же это какой-нибудь профессор зоологии, или писатель, или садовод будет готовить настоящий, боевой материал для армии и флота? Это дело пра-

вительства, и в частности - военного министра. Перед войной таким министром был генерал А. Н. Куропаткин, который имел шесть лет для подготовки «настоящего боевого материала». При чем тут отсутствие «всякой интеллигентности» у общества и народа?

Со времен Милютина, который сам гордился своим писательством и поощрял писательство среди военных, и армия, и флот выдвинули множество пишущих людей; между ними были и есть талантливые. Нет сомнения, что сотрудников у А. Д. Далматова найдется очень много, гораздо больше, чем в состоянии вместить один журнал. Поэтому между ними следует делать тщательный выбор. Хотя у нас уже есть целый ряд журналов, обслуживающих интересы армии и флота, то и еще один не лишне иметь. Но каждый новый журнал должен быть непременно лучше прежних или пополнять пробел между ними, иначе существование его ничем не объяснимо.

По словам, изящной внешности, по обилию прекрасных иллюстраций «Армия и Флот», конечно, выше всех военных изданий, - и если издатели хотели завоевать невоенное общество, то цель эта будет достигнута. Журнал по содержанию общедоступен, он легко читается и просматривается. Но самая идея издавать военно-морской журнал для невоенных и для не моряков, мне представляется сомнительной. Я не знаю, на какой предмет помещику изучать минное дело или скотоводу - артиллерию. У каждого обывателя, занимающегося каким-либо серьезным трудом, есть своя специальная литература, за которой он должен следить: помещик - по сельскому хозяйству, скотовод - по скотоводству и т. д. В России, правда, есть обычай интересоваться иногда всем на свете, кроме собственного ремесла, - но дальше верхоглядства это ни к чему не ведет. Если скажут, что пора политически-мыслящему обществу знакомиться с такими важными сторонами государственности, как армия и флот, и знакомиться не из одних газет, то я спорить с этим не буду. Но много ли у нас людей, серьезно увлеченных политикой? Мне кажется, современный военный журнал должен поменьше иметь в виду штатскую публику и побольше - военную. Бросьте, господа, насаждать воинственность в штатской публике - озаботьтесь, чтобы воинственной была армия, и этого за глаза будет достаточно. Мы, как народ, принадлежим уже от рождения к мужественной расе. Храбрость русского народа на протяжении тысячелетия засвидетельствована в тысяче сражений. Наконец, мы вовсе не равнодушны к армии и флоту. Наоборот, пока они были победоносными, то были нашими народными идолами, наи-

более любимыми, перед которыми мы не жалели никаких курений. Последние войны - и особенно та, бесславная, о которой вспоминать не хочется, - конечно, пошатнули это идолопоклонство, и прежнего обаяния у нас уже нет. Но обаяние - вещь тонкая, оно создается и исчезает помимо воли. Как влюбленность, восхищение к военной среде не подкажешь и не внушишь. Нужно ждать новых победоносных войн - и только они в состоянии вернуть ореол армии и флоту. Никогда, до последнего своего вздоха, великий народ русский не помирится с поражением его, и пока клеймо это не снято с него, он будет глядеть на родное детище свое - армию и флот - иначе, чем смотрел прежде. Пусть вы, военные, молодцы из молодцов, пусть вы внушаете большие надежды, но... оправдайте же их! Дайте победу - и тогда не будет границ нашей благодарности: не будет предела восторга и поклонения пред вами!

Вы скажете: для победы нужна моральная поддержка. Да. Она есть. Она всегда есть и была в последнюю войну, как во времена суворовских походов. Моральною поддержкой на войне служат не громкие фразы и не дутые похвалы, оскорбительные, если они не заслужены. Моральною поддержкой воина служит бодрствующий в нем дух народный, вера в родного Бога, глубокая жалость к родине, решимость умереть за нее. Моральною поддержкой воина служит гордость народная и государственная честь, которую чувствует солдат, если армия не деморализована своими собственными начальниками. В них-то вся и суть. С тех пор, как свет стоит, считалось истинной военной аксиомой: лучше армия баранов под предводительством льва, чем армия львов под руководством барана. Эта банальная истина записана во все учебники военного дела и входит даже в прописи. Ужасно подумать, если наша армия и наш флот станут искать внушений не в собственном мужестве, а в воинственности нас, штатских обывателей...

В журнале А. Д. Далматова (пока вышло два номера) имеются очень содержательные статьи и заметки (особенно хорош морской отдел), и мне не раз, вероятно, придется знакомить читателя с выдающимися статьями этого органа. Пока он еще в зачатии - хотя весьма бодром и жизненном, - остается пожелать ему блистательного успеха. Успех непременно и будет достигнут, если молодой журнал взглянет на себя как на продолжение офицерской школы. Нельзя оставаться в области элементарного и повторять зады, нельзя, с другой стороны, и вдаваться в техническую ученость. В военном деле, как во всяком, есть нечто выше науки - именно искусство. Научиться, вообще говоря, ничему не труд-

но, но внедрить в себя искусство владеть этим научением - вот в чем весь вопрос. Я не сторонник милютинского метода - изучать войну через бумагу. Несравненной и ничем незаменимой школой для войны навсегда останется не академия, а война. Но за отсутствием войны следует учиться ей как и где доступно. Если военный журнал не философствует и не впадает в публицистику, если он не подлаживается к начальству и не рекламирует тех и этих, если он с умом и талантом передает только факты и факты, обсуждая их в условиях боевой обстановки, - то такой журнал очень поучителен для офицерства и очень полезен. Военное сословие нужно держать в особой атмосфере, насыщенной мыслью о войне, страстью к войне, опытом войны, поэзией войны, религией войны. Если роскошный по внешности журнал А. Д. Далматова разовьется в своего рода военно-электрическую станцию, способную своей энергией военного чувства заражать и возбуждать военный наш мир, - это будет большая заслуга перед Россией.

Все строить столицы и усадьбы, все мечтать о высокой культуре народной и человеческого счастья, если все это в грозный день Господень, в день войны, - нельзя отстоять с победой и славой.

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

СВИНЯ МАТУШКА

I

Один современный русский писатель сравнивает два памятника - Петра I и Александра III.

«К статуе Фальконета, этому величию, этой красоте, поскакавшей вперед России... как идет придвинуть эту статую России через 200 лет после Петра, растерявшего столько надежд!.. Как все изящно началось и как неуклюже кончилось!»

· Это тогда! - мог бы сказать обыватель, взглянув на монумент на Сенатской площади.

· Это теперь! - подумал бы он, взглянув на новый памятник.

«Водружена матушка Русь с царем ее. - Ну, какой конь Россия - свинья, а не конь... Не затанцует. Да, такая не затанцует, и, как мундштук не давит в небо, матушка Русь решительно не умеет танцевать ни по

чьей указке и ни под чью музыку... Тут и Петру Великому «скончание», и памятник Фальконета - только обманувшая надежда и феерия».

«Зад, главное, какой зад у коня! Вы замечали художественный вкус у русских, у самых, что ни на есть аристократических русских людей приделывать для чего-то кучерам чудовищные зады, кладя под кафтан целую подушку? - Что за идеи, объясните! Но, должно быть, какая-то историческая тенденция, «мировой» вкус, что ли?..»

Мировой вкус к «заду» - это и есть «родное мое, наше российское». - «Крупом, задом живет человек, а не головой... Вообще говоря, мы разуму не доверяем»...

«Ну и что же, все мы тут, все не ангелы. И до чего нам родная, милая вся эта Русь!... Монумент Трубецкого, единственный в мире, есть именно наш русский монумент. - Нам другой Руси не надо, ни другой истории».

Самообличение - самооплевание русским людям вообще свойственно. Но и среди них это небывалое; до этого еще никто никогда не доходил. Тут переступлена какая-то черта, достигнут какой-то предел.

Россия - «матушка», и Россия - «свинья». Свинья - матушка. Песнь торжествующей любви - песнь торжествующей свиньи.

Полно уж, не насмешка ли? Да нет, он, в самом деле, плачет и смеется вместе: « смеюсь каким-то живым смехом» от пупика», - и весь дрожит, так что видишь, кажется, трясущийся кадык Федора Павловича Карамазова.

Ах, вы, деточки, поросяточки! Все вы - деточки одной Свиньи Матушки. Нам другой Руси не надо. Да здравствует Свинья Матушка!

Как мы дошли до этого?

II

Дневник А.В. Никитенко* (1804 - 1877) - едва ли не лучший ответ на вопрос: как мы до этого дошли?

Это исповедь, обнимающая три царствования, три поколения - от наших прадедов до наших отцов. Год за годом, день за днем, ступень за ступенью - та страшная лестница, по которой мы спускались и, наконец, спустились до Свиньи Матушки.

Рабья книга о рабьей жизни. Писавший - раб вдвойне, по рождению и по призванию: крепостной и цензор; откупившийся на волю крепостной и либеральный цензор. Русская воля, русский либерализм.

Рабы, влачащие оковы.

Высоких песен не поют.

Вся жизнь его - песнь раба о свободе. «Боже, спаси нас от революции!» - вот вечный припев этой песни. - «Безумные слепцы! Разве они не знают, какая революция возможна в России? - Надо не иметь ни малейшего понятия о России, чтобы добиваться радикальных переворотов. - Я вышел из народа. Я плебей с головы до ног, но не допускаю мысли, что хорошо дать народу власть. - Либерализм надо просеивать сквозь сито консерватизма. - Один прогресс сломя голову, другой постепенно: я поборник последнего. - Мудрость есть терпение. - Вот я люблю стебельком растения в горшке, стоящем на моем окне, которое, не смотря на недостаток земли и на холод, проникающий сквозь стекло, все-таки растет и зеленеет».

Бедное растение, бедная рабья свобода!

Только изредка, когда впивается железо до костей, уже не поет он, а стонет. «Искалеченный, измученный, лучше сразу откажись от всяких прав на жизнь и деятельность - во имя... Да во имя чего же, Господи?»

В 1841 году предложил он гр. Шереметеву выкуп за мать и брата, еще крепостных.

«Вот я уже полноправный член общества, пользуюсь некоторой известностью и влиянием, и не могу добиться - чего же? Независимости моей матери и брата. Полоумный вельможа имеет право мне отказать: это называется правом! Вся кровь кипит во мне; я понимаю, как люди доходят до крайностей».

Сам он до них не дошел. «Я всегда был врагом всяких крайностей». Несмотря на все испытания, все искушения, а их, видит Бог, было много, - остается он до конца дней своих либеральным постепенцем.

«Стоять посреди крайности, соблюдать закон равновесия - ничего слишком - вот мой девиз. - Терпение, терпение и терпение. - Мудрость есть терпение. - Нет такого зла которого люди не могли бы снести: все дело только в том, чтобы привыкнуть к нему. - Да будет все так, как иначе быть не может».

Да будет все так, как есть.

Мы видим здесь воочию, как европейское лицо либеральной постепенщины превращается в истинно русский реакционный «зад»; как утверждение либеральной середины переходит в самую чудовищную крайность: да здравствует Свинья Матушка!

III

«Не правда ли, я говорил, что в Европе будет смятение?» - сказал Николай I в 1848 году представлявшимся ему русским католическим епископам.

· «Только что я услышал об этих беспорядках, - ответил один из них, - как вспомнил высокие слова вашего величества и изумился их пророческому значению».

· «Но будет еще хуже, - продолжал государь. - Все это от безверия и потому я желаю, чтобы вы, господа, как пастыри, старались всеми силами об утверждении в сердцах веры. Что же меня касается, - прибавил он, сделав широкое движение рукой, - то я не позволю безверию распространяться в России, ибо оно и сюда проникает».

Еще откровеннее выразил эту главную мысль николаевского царствования министр народного просвещения Уваров:

· «Мы живем среди бурь и волнений политических. Народы обновляются, идут вперед. Но Россия еще юна... Надобно продлить ее юность... Если мне удастся отодвинуть Россию на 50 лет, то я исполню свой долг.»

Никитенко знает, откуда пошла эта «русская вера»: «о, рабыня Византия! Ты сообщила нам религию»...

Борьба России с Европой, всемирно-исторического «зада» со всемирно-историческим лицом есть возрождение Византии в ее главной религиозной сущности.

«Теперь в моде патриотизм, - продолжает Никитиненко, - отвергающий все европейское и уверяющий, что Россия проживет одним православием без науки и искусства ...Они точно не знают, какой вонюх пропахла Византия, хотя в ней наука и искусство были в совершенном упадке... Видно по всему, что дело Петра Великого имеет и теперь врагов не менее, чем во времена раскольников и стрелецких бунтов. Только прежде они не смели выползти из своих темных нор... Теперь же все гады выползли.

Кто главный Враг дела Петрова, он тоже знает.

В том самом 1848 году, когда объявлена священная война Европе, Никитенко записывает: »Думают навсегда уничтожить дело Петра. - Наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему. Еще немного - и все, в течение ста пятидесяти лет содеянное Петром и Екатериною, будет вконец низвергнуто, затоптано. Чудная земля Россия! Пол-

тора ста лет прикидывались мы стремящимися к образованию. Оказывается, что все это было притворство и фальшь: мы улепетывали назад быстрее, чем когда-либо шли вперед. Дивная земля!»

Вот когда начался «мировой вкус к заду», превращение Коня в Свинью.

Почти ни одной черты не надо менять, якобы картина тогдашней реакции сделалась картиною наших дней.

Неземная скука «вечных возвратов», повторяющихся снов: «в с е т о у ж б ы л о к о г д а - т о», - вот что в русских реакциях всего отвратительнее.

Никитенко - не Тацит; но иные страницы его напоминают римского летописца, может быть, оттого, что нет во всемирной истории двух самовластий более схожих по впечатлению сумасшествия, которое производит низость великого народа. Ибо что такое самовластие, возведенное на степень религии, как не самое сумасшедшее из всех сумасшествий?

IV

Другой министр народного просвещения, кн. Ширинский-Шихматов, утверждал, что «польза философии не доказана, а вред от нее возможен».

Понятно, что, с этой точки зрения, все философские системы в России не более, как те галки, которые садятся на крестах и пакостят.

Да и где уж тут философия, когда один цензор в учебнике арифметики запрещает ряд точек, поставленный между цифрами, подозревая в них вредный умысел; а другой - не пропускает в географической карте места, где говорится, что в Сибири ездят на собаках, требуя, чтобы сведение это получило подтверждение от министерства внутренних дел. Бесконечная переписка ведется о том, как ставить числа месяцев - нового стиля над старым, или старого над новым.

Одного ученого на университетском диспуте «О зародыше брюхоголовых слизняков» за употребление слов объявили «не любящим своего отечества и презирающим свой язык».

...Цензор пушкинского «Современника» до того напуган гауптвахтою, что «сомневается, можно ли пропускать известия вроде того, что такой-то король скончался».

В сочинении по археологии нельзя говорить о римских императо-

рах, что они убиты, - велено писать: »погибли»; а греческое слово *демос* - народ -заменять русским словом *граждане*.

И опять вспоминается Магницкий, который доказывал некогда, что книга профессора Куницына «Естественное право», напечатанная в Петербурге, произвела революцию в Неаполе.

О книге «Проделки на Кавказе» военный министр заметил Дубельту: «Книга эта уже тем вредна, что в ней что ни строчка, то правда».

Тот же Дубельт вызвал Булгарина за неодобрительный отзыв о петербургской погоде: »О чем ты там нахрюкал? Климат царской резиденции бранить? Смотри!»

Когда за философские письма Чаадаева запрещен был «Телескоп», издателей петербургских журналов вызвали в цензурный комитет; все они вошли, согнувшись, со страхом на лицах, как школьники.

Цензоров тошнит от цензуры: «цензура теперь хуже квартальных надзирателей. - Из цензуры сделали съезжую и обращаются с мыслями, как с ворами и пьяницами. - Тьфу! Что же мы, наконец, будем делать в России? Пить и бунить?»

На похоронах Пушкина обманули народ: сказали, что отпевать будут в Исаакиевском соборе, и ночью, тайком, перенесли тело в Конюшенную церковь. Бенкендорф убедил государя, что готовится манифестация; по улицам стояли военные пикеты, и в толпе шныряло множество сыщиков. Точно так же тайком увезли тело в деревню.

Жена Никитенко на одной станции, неподалеку от Петербурга, увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожей. Три жандарма на почтовом дворе хлопатали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом.

· Что это такое? - спросила она у одного из находившихся здесь крестьян.

· А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин...

... Офицер в маскарade Дворянского собрания в пьяном виде разрубил саблею череп молодому человеку, ничем его не оскорбившему.

Вот первые цветочки того хулиганства, чьи ягодки созрели в наши дни.

В корпусе мальчишки освистали учителя-офицера. Сначала их секли так, что доктор, при этом присутствовавший, перестал отвечать за жизнь некоторых; потом лишили дворянства, разжаловали в солдаты и по этапу отправили на Кавказ. - «Русское дворянство растит своих сыновей для розг, а дочерей для придворного разврата! - Ужас, ужас и

ужас!»

«Но если иногда и загорается ужас, то гаснет тотчас же в той серенькой слякоти. Которая определяется двумя словами: карты и скука. Во всех салонах царствуют карты и скука».

Это слишком знакомое нам состояние тихого террора, благополучного ужаса - не только в обществе но и в народе.

«Гулял под качелями. Густые массы народа двигались почти бесшумно, с тупым равнодушием поглядывая на паяцев и вяло улыбаясь на их глупые выходы».

Однажды на масленице 1836 года загорелся балаган Лемана. Когда начался пожар и раздались первые вопли, народ, толпившийся на площади, бросился к балагану, чтобы разбирать его и освобождать людей. Явилась полиция, разогнала народ и запретила что бы то ни предпринимать до прибытия пожарных. Народ отхлынул и сделался спокойным зрителем страшного зрелища. Пожарная команда поспела как раз вовремя, чтобы вытаскивать крючками из огня обгорелые трупы. Зато «Северная пчела» объявила, что люди горели в удивительном порядке. - «Государь сердился, но это никого не вернуло к жизни».

Все нарастает и нарастает этот тихий ужас, предчувствие неминуемой гибели.

«В обществе нет точки опоры: все бродят, как шалые и пьяные. Одни воры и мошенники бодры и трезвы. - Общество быстро погружается в варварство.

...Николай I скончался. «Длинная и, надо-таки сознаться, безотрадная страница русского царства дописана до конца, - произнесет раб над владыкою беспощадный приговор человеческой совести. - Главный недостаток царствования Николая Павловича тот, что все было - ошибка. - Теперь только открывается, какие ужасы были для России эти двадцать девять лет. Администрация в хаосе; нравственное чувство подавлено; умственное развитие остановлено; злоупотребление, воровство выросли до чудовищных размеров. Все это - плоды презрения к истине и слепой варварской веры в одну материальную силу. Восставая целые двадцать девять лет против мысли, он не погасил ее... и заплатил своею жизнью, когда последствия открылись ему во всем своем ужасе».

«Николая I, - говорит Никитенко, - убила эта несчастная война».

Нет, не только эта, но вечная война России с Европою - космического зада с человеческим лицом. И не только над прошлым произнесен беспощадный приговор, - но и над будущим.

V

«Великий день: манифест о свободе крестьян», - записывает Никитенко 5 марта 1861 года. Он прочел этот манифест, «важнее которого вряд ли что есть в тысячелетней истории русского народа», вслух жене и детям перед портретом Александра II, «как перед образом», и велел своему десятилетнему сыну «затвердить навеки в своем сердце 5 марта и имя Александра II Освободителя».

Не сиделось дома на радостях. Вышел бродить по улицам. Везде читали манифест и наклеенные на перекрестках объявления от генерал-губернатора. Один, дочитав до места, где говорится, что два года дворовые должны оставаться в повиновении у господ, воскликнул: »Черт дери эту бумагу!» Другие молчали.

Но Никитенко не обратил на это внимание и, встретив А. Д. Галахова, бросился ему на шею: «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!» - и обнялись, чуть не заплакав от радости.

Никитенко казалось, что он может воскликнуть: ныне отпускаеши раба твоего, - что освобождение крестьян - освобождение России. И не только ему одному, а почти всем его современникам. Почти все тогда поверили, что освобождение безвозвратное. Но что возврат всегда возможен, - да еще какой, - показал страшный опыт.

Начался тот медовый месяц либеральной постепенщины, за который мы так жестоко расплавиваемся. Мед отцов отрыгнулся в десятих полыню.

А между тем и тогда, кто хотел, видел правду. Точнее нельзя ее высказать, чем это сделал несколько лет назад.

«В общество начинает прорываться стремление к лучшему порядку вещей. Но этим еще не следует обольщаться. Все, что до сих пор являлось у нас хорошего или дурного, все являлось не по самобытному движению общественного духа, а по воле высшей власти, которая одна вела, куда хотела»(1855).

И еще раньше, во времена николаевские: «или наш народ, в самом деле, никогда не делал, а за него всегда делала власть?... Неужели он всем обязан только тому, что всегда повиновался - этой гнусной способности рабов?»

Обязан всем - даже свободой. Воля рабов - рабья воля - немногим лучше вольного рабства.

Нет, не свободен освобождаемый и не освободивший себя народ.

Свобода - не милость, а право. Не роса нисходящая, а пламя возносящаяся. Лишь Божьей милостью свободен свободный народ.

Если бы Никитенко остался верен этой правде, то не запутался бы в той лжи, в которой погиб.

«Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование! Если бы в николаевские времена кто-нибудь вздумал напечатать о подобных вещах, тот бы был сочтен за сумасшедшего или за государственного преступника. А тут вот публичное судопроизводство, гласные, присяжные, адвокатура... и все это создание того государя, которого упрекают в слабости. - Когда правительство ступило на другой путь, тогда бесчестно не содействовать его благим начинаниям! - Нет, господа красные, вы не поняли этого человека!»

«Во всей нашей администрации есть только один человек, честности и патриотизму которого можно доверять, - это Александр II. - Если между нашими правительственными лицами есть кто-нибудь, желающий блага России, то это государь».

Все бывшее зло - от личной воли Николая I; все настоящее благо - от личной воли Александра II. Но ведь это и значит: народ сам никогда ничего не делал, а за него делала власть; он всем обязан повиновению - «этой гнусной способности рабов». Корень рабства остается нетронутым; заколдованный круг неразорванным. И освобождение не освобождает. Было и есть. Есть и будет.

Мудрено ли, что бывшее медом в устах отцов, будет полынью во чреве детей?

Либеральному постепеновцу суждено отныне вечно искать середины, вечно колебаться как маятнику между двумя крайностями, «я всегда был врагом между двумя крайностями», «я всегда был врагом резких крайностей»; - между двумя террорами: белым и красным; между двумя молитвами: Боже, спаси нас от реакции, Боже, спаси нас от революции.

И постепенно, и нечувствительно совершит он полный оборот слева направо, от европейского лица к истинно русскому заду реакции.

VI

«Появились нигилисты в круглых шапочках и с остриженными волосами, - записывает он 21 апреля 1864 года. - Наши требуют жизни без всяких нравственных опор и верований. - Хотят разрушить все и начать с дубины дикаря. - Смотрят на человечество, как на стадо живот-

ных».

Из беседы с одной нигилисткой: «Эта милашка до того завралась, что воскликнула: анархия - самое лучшее состояние общества!»

О философии Лаврова: «Боже мой, и это философия!.. Я не говорю уже о том, что тут все один материализм... Но что за хаос мыслей!.. Разве только на Сандвичевых островах можно признать за философию весь этот бред».

О Писареве: «Модный пророк Писарев угрожает нам в будущем кровавом потоком».

«Прокламации. Бредят конституцией, социализмом... Требуют, чтобы Россия лила кровь, как воду... И чего хотите вы, господа красные?.. Кто дал вам право человеческую кровь считать за воду?.. Вы хотите кровавыми буквами написать на ваших знаменах: с в о б о д а и а н а р х и я».

«Настоящей разумной революции не из чего делать, хотя все к ней клонится. Но мы способны дойти до полной анархии. - Деспотизм анархический несравненно хуже монархического. - Мы стоим в предистории анархии, да она уже и началась. - Мы все спускаемся по скату и с неудержимой быстротой мчимся в пропасть, которой пределов и дна не видно».

«До чего же изгажено, перепорчено, изуродовано молодое поколение!.. Это - осадки, подонки века... Растленные умы... Краснокожие либералы... Нелепые стремления... Безобразный порыв... Бедная Россия, как жестоко тебя оскорбляют!.. Боже, спаси нас от революции!»

Что это? Полвека или полгода назад? Никитенко или Булгаков, Бердяев, Струве? Дневник шестидесятых годов или «Вехи»? Те же мысли, чувства, те же слова, те же звуки голоса. «Все это уже было когда-то». Было и есть, есть и будет. Отвратительная скука русских реакций, неземная скука вечных возвратов, повторяющихся снов.

Все так же нечувствительно, постепенно - постепеновец доходит до воззвания к ежовым рукавицам.

«Если бы правительство показало, что с ним шутить нельзя, то мода эта (на нигилизм) быстро прошла бы. - Единственной уздой русского человека до сих пор был страх; теперь этот страх снят с его души». Страху не стало - оттого и гибнет Россия.

Но если так, то николаевское царствование не было «ошибкой»; уж если кто сделал ошибку, то сам Никитенко, осудивший царство страха. Прав был Николай, прав был Уваров, желающий «подтянуть» Рос-

сию, «отодвинуть на пятьдесят лет».

Оказывается, в России, хотя «народ никогда ничего не делал, а все за него делала власть», - все же не избыток, а недостаток власти. «Чего смотрят высшие власти?.. Едва ли в каком-нибудь благоустроенном государстве инерция правительства доходила до такой степени, как у нас».

Эта желанная власть явилась, наконец, в лице Муравьева. «Меры Муравьева начинают приноситься плоды: восстание (Польша) почти прекращено. Пора, пора действовать в духе одной системы, не сворачивая в сторону ни на одну линию».

Когда генерал-губернатор Суворов отказался участвовать в поднесении образа Муравьеву, говоря, что не может оказать этой чести такому «людоеду», - Тютчев назвал это пошлостью в пошлейших стихах:

Простите нас, наш симпатичный князь,
Что русского не чтим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь.

«Если уж пошло на то, так Россия нужнее для человечества, чем Польша, - решает Никитенко. У России есть будущность. Нас упрекают могуществом нашим, как преступлением. Но разве мы украли наше могущество? Мы добыли его терпением и кровью».

«Смотрите, не лизните крови!» - предостерегает он русских ниглистов и тут же с «людоедами» лижет кровь.

«Не фальшь ли все это, что говорят о народном патриотизме? Не ложь ли это, столь привычная нашему холопскому духу?» - не вспомнились ему тогда эти его собственные слова?

VII

Уже в 1858 году поворот назад становится очевидным. Запрещено употреблять в печати слово «прогресс». На докладе Ковалевского, в котором говорилось о прогрессе гражданственности, Александр II собственноручно написал: «Что за п р о г р е с с? Прошу этого слова не употреблять».

В следующем 1859 году: «Мы, кажется, не шутя вызываем тень Николая Павловича. Но теперь это может быть и опасно. Правительство нехорошо делает, что, принимая начало, не допускает последствий». Но начало без последствий - в этом вся сущность рабьей свободы: по устам текло - а в рот не попало.

В 1861 году, несколько дней спустя после Манифеста: «Право, никогда еще, даже при Николае Павловиче, университеты наши не были в таком положении, как теперь. - «Современнику» - предостережение. - Министр усиливается запретить Некрасова».

«Коварнейшая погода: солнце светит ярко, как летом, а между тем страшный холод. - Прелестные майские дни, нечего сказать! Сегодня ночью выпал снег. Надевай опять шубу. - На душе уныло, мрачно, безнадежно. - Тощая зелень из полумертвой земли».

Бедный подснежник рабьей свободы, побитый морозным утренником. Мнимая весна - петербургская оттепель.

«Государь намерен закрыть некоторые университеты.

Долее терпеть такие беспорядки нельзя, - говорит он, - я решился на строгие меры».

«В Казанской губернии бунт крестьян. - Употреблена военная сила. Шестьдесят человек убито».

В 1864 году о статьях Каткова: «неужели же одною материальною силою мы будем притягивать немцев, поляков, финнов? Правительству нужны бывают цепные собаки; оно и спускает их с цепи, а потом не знает, как их унять».

В 1865 году: «Валуев замыслил сделать с нашею литературою то, чего не в состоянии был сделать Николай Павлович».

В 1869: «Надо зажать рот печати», - говорит новый Аракчеев - Шувалов. - Паника всеобщая. Ожидают худшего, чем во времена николаевские».

В 1872: «Мы возвращаемся прямо к временам перед Крымской войной. Новый закон о цензуре. Finis печати. При этом законе становятся невозможными в России наука и литература. Да правду сказать, давно бы следовало покончить с ними. К чему они нам?»

Рабы, влачащие оковы,

Высоких песен не поют.

В конце пятидесятых годов, отметил летописец, появление славянофила А. С. Хомякова в армяке и шапке-мурмолке: «Говорит неумолчно и большей частью по-французски... Себе на уме». - Теперь появляется другой представитель русской народности, еще больше себе на уме: «казацкий генерал с удивительною рожею, - на ней как будто отпечатана такая программа, что, если он хоть четвертую часть ее исполнил, то его десять раз стоило повесить. А между тем, странное дело, тут же

видно и какое-то добродушие».

На высоте русского освобождения этот казачий генерал - как реюющий ангел на игле Петропавловской крепости. Смесь либерального добродушия с программой, достойной виселицы, и есть лицо того времени, в которое мы, дети наших отцов, имели несчастье родиться.

В это именно время делается «провидением Петербурга Трепов». Не только Петербурга, но и всей России. «Вся Россия отдается под полицейский надзор... Открыто подкапываются под суды, стремятся опрокинуть земские учреждения, поразить гласность. - Земское собрание уничтожено, как какое-нибудь поганое нигилистическое общество. - Администрация принимает такие репрессивные меры, как будто одни нигилисты населяют русскую землю».

Усилена власть губернаторов. Нижегородский сделал распоряжение, по которому все женщины в круглых шляпах, синих очках, с остриженными волосами и без криналинов признаются нигилистками и забираются в полицию, где им приказывают одеть кринарины, а если не послушаются, то высылают из губернии.

В 1872 году в Петербурге одну молодую девушку, дочь действительного статского советника, остригшую себе волосы после тифа и по слабости глаз носившую очки, городовые схватили на улице и отвели в часть как нигилистку.

«При мне этого не будет!» - говорит гр. Д.А. Толстой о нигилистах. И Катков, как бешеный, кидается на всех.

Полдень белого террора, тихого ужаса.

«Все одно и то же - мрачно всюду, глухо всюду». И в этой глухой тишине, кажется, вот-вот раздастся снова панический крик: «Да сохрани господь Россию!»

«Какие невероятные успехи сделала Россия!» - это в начале, а в конце: «Мне пришлось горько разочароваться и убедиться, что всему хорошему у нас суждено начинаться, но не доходить до конца. - Дав свободу народу, мы хотим сковать всякую свободу мысли. - Одною рукою производим улучшения, а другою их подрываем; одною даем, а другою отнимаем. Устанавливаем новые порядки и тот час же спешим сделать их не действительными. Нам хотелось бы нового в частности, но с тем, чтобы все главное оставалось по-старому. - У нас испугались реформы те самые, которые ее произвели».

Это и есть участь русской либеральной постепеновщины: кошачьи подарки, собачьи отнимки; и хочется и колется. Чего просили, то и

получили: не Божью грозу, а чертову слякоть рабьей свободы.

Все это уж было когда-то». - Было и есть. Есть и будет.

VIII

Да, «нам хотелось бы нового в частностях, с тем, чтобы все главное осталось по-старому».

Неужели же он всё еще видит, что именно главное? Неужели все еще думает, что губит Россию только бюрократия - цвет и плод, а не корень дерева.

Кажется, начинает видеть.

«Не перестают восхищаться благодеяниями, излитыми в последнее время на народ. То ли скажет история? Освобождение будет не добром, а злом, и великим злом, при таком повороте назад. - Лучше было бы не начинать, чем продолжать так».

Это увидел он, уже одной ногой стоя во гробе. «Теперь я, как Марий на развалинах»...

И вот последний вопль отчаяния: «Наш народ черт знает, что такое! - Все ложь, все ложь, все ложь в любезном моем отечестве».

Было царство страха, стало царство лжи.

Ложь - рабья свобода и рабья любовь к отечеству: у рабов нет отечества.

Как утопающий за соломинку, хватается он теперь за ту самую революцию, которой так боялся, за тех самых нигилистов, которых так ненавидел.

«Всеобщее неудовольствие и волнение умов, даже дикие выходки наших юношей доказывают, что наш народ жив и что у него есть будущность. Главный двигатель материалистов - отчаяние, и, правду сказать, есть от чего прийти в отчаяние. - Но чем хуже, тем лучше. - Может быть, нам предстоит очиститься в огне революции».

Он, впрочем, знает, что ему самому этим огнем уже не очиститься; над самим собою и над своим поколением произнес он смертный приговор.

«Самое важное в человеческой жизни - это умение что-нибудь сделать. - Я ничего не умел и не умею сделать. Жить в словах и для слов это - глубокое злополучие. - Я, как ребенок, как дурак, играю в мечты и призраки. Я и подобные мне доктринеры составляем род бесполезных

людей, способных разве только умирать мужественно и честно. Но мы напрасно думаем отворотить неотвратимое».

Приговора тягчайшего над либеральной постепеновщиной никто никогда не произносил.

IX

Тот всепоглащающий нигилизм, с которым он в других боролся, - теперь с ужасом видит он в себе самом. Всю жизнь отрицал крайности, утверждал середину, и вот в самой середине, в самом сердце всего - ничего.

«Все, что мы называем прекрасным, добрым, заключается в идеалах - в иллюзиях» - во лжи. «Вся наша цивилизация - грубая, пошлая ложь, блеск снаружи, гниль внутри. - Наука, говорят, освободит человека от иллюзий. Хороша услуга. Я не знаю, в состоянии ли голая истина довести человечество до чего-нибудь, кроме отчаяния. Глубокое презрение к себе и к жизни, вот все, что выносишь из долговременного опыта жизни. Человек - ничто. Жизнь гадка. Она есть глубочайшее ничтожество, ничтожнее самого ничтожества».

Проклятие жизни, проклятие себе, проклятие Богу.

Перед этим нигилизмом, нигилизм самых крайних - детская шалость. Там золотуха; здесь проказа.

Напрасно хочет он сохранить мужество: «пока жив, будь мужем; крепче и крепче держись за дух. - Каждый день начинается мыслью: борись и крепись. - Терпение, терпение и терпение».

Нет, проклятье всех проклятий - этому терпению! Лучше умереть, чем так терпеть.

«Умереть значит перестать существовать и терпеть зло».

И, может быть, злейшее зло - само терпение?

«1877, июль, 19. - Здоровье гнусное, прегнусное; человечество гнусное, прегнусное... Ветер завывает, как лютый зверь. Дождь, мрак...»

«Июль, 20. - Проиграно сражение при Плевне, и какое-то мрачное молчание, лишаящее нас сведений об...»

На этом слове дневник обрывается. На следующий день, 21 июля, Никитенко умер.

Рабья жизнь, рабья смерть.

Рабы, влачащие оковы,

Высоких песен не поют.

Песнь его - только песнь умирающего раба, сраженного гладиатора. Если бы он знал, что суждено ей заглушиться песнью торжествующей свиньи!

«Всякий народ имеет своего дьявола», - говорит Лютер. Никитенко увидел лицо русского дьявола - «космический зад»: ну, и что же, все мы тут, все не ангелы; и до чего нам родная, милая вся эта Русь: нам другой Руси не надо».

Да здравствует Свинья Матушка!

Он от этого умер, а мы этим живем.

учительна при сопоставлении с пережитыми нами событиями. Обычно после революции и ее победы торжествует реакция в той или иной форме. Смута начала XVII века представляет ту оригинальную черту, что и в этой революции, когда в народном движении, непосредственно, минувшая реакцию, одержали верх здоровые государственные элементы общества. И с этой чертой связана другая, не менее важная: «смута» была не только социальным движением, не только борьбой за политическую власть, но огромным движением национально-религиозной самозащиты. Без польского вмешательства великая смута 1598 - 1613 г.г. была бы рядом придворных интриг и переворотов, чередующихся с бессильными и бессвязными бунтами анархических элементов тогдашнего общества. Польское вмешательство развернуло смуту в национально-освободительную борьбу, в которой во главе нации стали ее консервативные общественные силы, способные на государственное строительство. Если это была великая эпоха, то не потому, что взбунтовались низы. Их бунт не дал ничего.

Таким образом, в событиях смуты начала XVII века перед нами с поразительной силой и ясностью выступает неизмеримое значение государственного и национального начал. С этой точки зрения особенно важен момент расхождения и борьбы государственных, земских элементов с противогосударственными, казачьими. За иллюзию общего дела с «ворами» первый вождь земства Прокопий Ляпунов поплатился собственной жизнью и полным крушением задуманного им национально-предприятия. Те «последние люди московского государства», которые по зову патриарха Гермогена встали на спасение государства и, под предводительством Минина и Пожарского, довели до конца дело освобождения нации и восстановления государства, совершили это в борьбе с противогосударственным «воровством» анархических элементов. В указанном критическом моменте нашей допетровской «смуты», в его общем психологическом содержании чувствуется что-то современное, слишком современное...

Социальные результаты смуты для низов населения были не только ничтожные, они были отрицательные. Поднявшись в анархическом бунте, направленном против государства, оседлые низы только увеличили свое собственное закрепощение и социальную силу «господ». И вторая волна социальной смуты XVII в., движение, связанное с именем Стеньки Разина, стоившее множества жертв, бессмысленно жестокое, совершенно «воровское» по своим приемам, так же бессильно, как и

первая волна, разбилась о государственную мощь.

В этом отношении пугачевщина не представляет ничего нового, принципиально отличного от смуты 1598 - 1613 г.г. и от разиновщины. Тем не менее социальный смысл и социальное содержание всех этих движений и, в особенности, пугачевщины громадны: они могут быть выражены в двух словах - освобождение крестьян. Пугачев манифестом 31 июля 1774 года противогосударственно предвосхитил манифест 19 февраля 1861 г. Неудача его «воровского» движения была неизбежна: если освобождение крестьян в XVIII и в начале XIX в. было для государства и верховной власти - по причинам экономическим и иным - страшно трудным делом, то против государства и власти осуществить его тогда было невозможно. Дело крестьянского освобождения было не только погублено, но и извращено в свою противоположность «воровскими» противогосударственными методами борьбы за него.

Носителем этого противогосударственного «воровства» было в XVIII в. «казачество». «Казачество» в то время было не тем, чем оно является теперь: не войсковым сословием, а социальным слоем, всего более далеким от государства и всего более ему враждебным. В этом слое были навыки и вкусы к военному делу, которое, впрочем, оставалось у него на уровне коллективного разбоя.

Пугачевщина была последней попыткой казачества поднять и повести против государства народные низы. С неудачей этой попытки казачество сходит со сцены, как элемент, вносивший в народные массы анархическое и противогосударственное брожение. Оно само подвергается огосударствлению, и народные массы в своей борьбе остаются одиноки, пока место казачества не занимает другая сила. После того, как казачество в роли революционного фактора сходит на нет, в русской жизни зреет новый элемент, который - как ни мало похож он на казачество в социалистическом и бытовом отношении - в политическом смысле приходит ему на смену, является его историческим преемником. Этот элемент - интеллигенция.

Слово «интеллигенция» может употребляться, конечно, в различных смыслах. История этого слова в русской обиходной и литературной речи могла бы составить предмет интересного социального этюда.

Нам приходит на память, в каком смысле говорил в тургеневской «Странной истории» помещик-откупщик: « У нас смирно; губернатор меланхолик, губернский предводитель - холостяк. А впрочем послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить: здесь не

без красавиц. Ну, и всю нашу интеллигенцию вы увидите». Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражения ученые. Он произносил их с иронией, но и с уважением. Притом известно, что занятие откупам, вместе с солидностью, развивало в людях некоторое глубокомыслие.

Мы разумеем под интеллигенцией, конечно, не публику, бывающую на балах в дворянском собрании.

Мы разумеем под этим наименованием даже не «образованный класс». В этом смысле интеллигенция существует в России давно, ничего особенного не представляет и никакой казаческой миссии не осуществляет. В известной мере «образованный класс» составляла в России всегда некоторая часть духовенства, потом первое место в этом отношении заняло дворянство.

Роль образованного класса была и остается очень велика во всяком государстве: в государстве отсталом, лежавшем не так давно на крайней периферии европейской культуры, она вполне естественно является громадной.

Не об этом классе и не об его исторически понятной, прозрачной роли, обусловленной культурною функцией просвещения, идет речь в данном случае. Интеллигенция в русском политическом развитии есть фактор совершенно особенный: историческое значение интеллигенции в России определяется ее отношением к государству в его идее и в его реальном воплощении.

С этой точки зрения интеллигенция, как политическая категория, объявилась в русской исторической жизни лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революцию 1905 - 1907 г.г.

Идейно же она была подготовлена в замечательную эпоху 40-х г.г.

В облике интеллигенции, как идейно-политической силы в русском историческом развитии, можно различать постоянный элемент, как бы твердую форму, и элемент более изменчивый, текучий - содержание. Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему.

Это отщепенство выступает в духовной истории русской интеллигенции в двух видах: как абсолютное и как относительное. В абсолютном виде оно является в анархизме, в отрицании государства и всякого общественного порядка, как таковых (Бакунин и князь Кропоткин). Относительным это отщепенство является в разных видах русского революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные

формы русского социализма. Исторически это различие между абсолютным и относительным отщепенством несущественно (хотя анархисты на нем настаивают), ибо принципиальное отрицание государства анархизмом есть нечто в высокой степени отвлеченное, так же, как принципиальное признание необходимости общественной власти (т.е., в сущности, государства) революционным радикализмом носит весьма отвлеченный характер и ступевывается пред враждебностью к государству во всех его конкретных определениях. Поэтому в известном смысле марксизм с его учением о классовой борьбе и государстве, как организации классового господства, был как бы обострением и завершением интеллигентского противогосударственного отщепенства. Но мы определили бы сущность интеллигенции неполно, если бы указали на ее отщепенство только в выше очерченном смысле. Для интеллигентского отщепенства характерны не только его противогосударственный характер, но и его безрелигиозность. Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его мистику не во имя какого-нибудь другого мистического или религиозного начала, а во имя начала рационального и эмпирического.

В этом заключается глубочайшее философское и психологическое противоречие, тяготеющее над интеллигенцией. Она отрицает мир во имя мира и тем самым не служит ни миру, ни богу. Правда, в русской литературе с легкой руки, главным образом, Владимира Соловьева установилась своего рода легенда о религиозности русской интеллигенции. Это в сущности - применение к русской интеллигенции того же самого воззрения, - на мой взгляд поверхностного и не выдерживающего критики, - которое привело Соловьева к его известной реабилитации, с точки зрения христианской и религиозной, противорелигиозных мыслителей. Разница только в том, что западноевропейский позитивизм и рационализм XVIII в. не в такой полной мере чужд религиозной идее, как тот русский позитивизм и рационализм XIX в., которым воспоена вся наша интеллигенция.

Вполне возможно религиозное отщепенство от государства. Таково отщепенство Толстого. Но именно потому, что Толстой религиозен, он идейно враждебен и социализму, и безрелигиозному анархизму и стоит вне русской интеллигенции.

Основная философия социализма, идейный стержень, на котором он держится как мировоззрение, есть положение о коренной зависимости добра и зла в человеке от внешних условий. Недаром основа-

телем социализма является последователь французских просветителей и Бентама Роберт Оуэн, выдвинувший учение об образовании человеческого характера, отрицающего идею личной ответственности.

Религия так, как она приемлема для современного человека, учит, что добро в человеке всецело зависит от его свободного подчинения высшему началу. Основная философия всякой религии, утверждаемой не на страхе, а на любви и благоговении - есть «Царство Божие внутри вас есть».

Для религиозного мирозерцания не может поэтому быть ничего более дорогого и важного, чем личное самоусовершенствование человека, на которое социализм принципиально не обращает внимания.

Восприятие русскими передовыми умами западноевропейского атеистического социализма - вот духовное рождение русской интеллигенции в очерченном нами смысле. Таким первым русским интеллигентом был Бакунин, человек, центральная роль которого в развитии русской общественной мысли далеко еще не оценена. Без Бакунина не было бы «полевления» Белинского, и Чернышевский не явился бы продолжателем известной традиции общественной мысли. Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев - это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинно духовная стихия, которою живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности. Разница между Новиковым, Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны, и Бакуниным и Чернышевским, с другой стороны, не есть просто «историческое» различие. Это не звенья одного и того же ряда, это два по существу непримиримые духовные течения, которые на всякой стадии развития должны вести борьбу.

В 60-х годах с развитием журналистики и публицистики «интеллигенция» явно отделяется от образованного класса, как нечто духовно особое. Замечательно, что наша национальная литература остается областью, которую интеллигенция не может захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика. Белинский велик совсем не как интеллигент, не как ученик Бакунина, а главным образом, как истолкователь Пушкина и его национального значения. Даже Герцен, несмотря на свой

социализм и атеизм, вечно борется в себе с интеллигентским ликом. Вернее, Герцен иногда носит как бы мундир русского интеллигента, и расхождение его с деятелями 60-х годов не есть опять-таки просто исторический и исторически обусловленный факт конфликта людей разных формаций, культурного развития и общественной мысли, а нечто гораздо более крупное и существенное. Чернышевский по всему существу своему другой человек, чем Герцен. Не просто индивидуально другой, а именно другой духовный тип.

В дальнейшем развитии русской общественной мысли Михайловский, например, был типичный интеллигент, конечно, гораздо более тонкого индивидуального чекана, чем Чернышевский, но все-таки с головы до ног интеллигент. Совсем наоборот. Владимир Соловьев вовсе не интеллигент. Очень мало индивидуально похожий на Герцена Салтыков — так же, как он, вовсе не интеллигент, но тоже носит на себе, и весьма покорно, мундир интеллигента. Достоевский и Толстой каждый по-разному срывают с себя и далеко отбрасывают этот мундир. Между тем весь русский либерализм — в этом его характерное отличие от славянофильства — считает своим долгом носить интеллигентский мундир, хотя острая отщепенская суть интеллигента ему совершенно чужда. Загадочный лик Глеба Успенского тем и загадочен, что его истинное лицо все прикрыто какими-то интеллигентскими масками.

* * *

В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции — ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции.

После пугачевщины и до этой революции все русские политические движения были движениями образованной и привилегированной части России. Такой характер совершенно явственно присущ офицерской революции декабристов.

Бакунин в 1862 г. думал, что уже тогда началось движение социальное и политическое самих народных масс. Когда началось движение, прорвавшееся в 1905 г. революцией, об этом можно, пожалуй, долго и бесконечно спорить, но когда Бакунин говорил в 1862 г.: «Многие рассуждают о том, будет ли в России революция или не будет, не замечая того, что в России уже теперь революция», и продолжал: «В 1864 году быть в России страшной беде, если царь не решится созвать всенародную земскую думу» — то он, конечно, не думал, что революция зата-

нется более чем на сорок лет.

Только в той революции, которую пережили мы, интеллигентская мысль соприкоснулась с народной впервые в русской истории в таком смысле и в такой форме.

Революция бросилась в атаку на политический строй и социальный уклад самодержавно-дворянской России.

Дата 17 октября 1905 года знаменует собой принципиальное коренное преобразование сложившегося веками политического строя России. Преобразование это произошло чрезвычайно быстро в сравнении с тем долгим предшествующим периодом, когда вся политика власти была направлена к тому, чтобы отрезать нации все пути к подготовке и осуществлению этого преобразования. Перелом произошел в кратковременную эпоху доверия и был, конечно, обусловлен банкротством внешней политики старого порядка.

Быстрота, с которой разыгралось в особенности последнее действие преобразования, давшее под давлением стихийного порыва, вдохновлявшего всеобщую стачку, акт 17 октября, подействовала опьяняюще на интеллигенцию. Она вообразила себя хозяином исторической сцены, и это всецело определило ту «тактику», при помощи которой она приступила к осуществлению своих идей. Общую характеристику этих идей мы уже дали. В сочетании этой тактики с этими идеями, а вовсе не в одной тактике - ключ к пониманию того, что произошло.

Актом 17 октября по существу и формально революция должна была бы завершиться. Невыносимое в национальном и государственном смысле положение вещей до 17 октября состояло в том, что жизнь народа и развитие государства были абсолютно замкнуты самодержавием в наперед установленные границы. Все, что не только юридически, но и фактически раздвигало или хотя бы угрожало в будущем раздвинуть эти границы, не терпелось и подвергалось гонению. Я охарактеризовал и заклеил эту политику в предисловии к заграничному изданию знаменитой записки Витте о самодержавии и земстве. Крушение этой политики было неизбежно и, в связи с усложнением общественной жизни и с войной, оно совершилось, повторяем, очень быстро.

В момент государственного преобразования 1905 года отщепенские идеи и отщепенское настроение всецело владели широкими кругами русских образованных людей. Исторически, веками слагавшаяся власть должна была пойти насмарку тотчас после сделанной ею уступки, в принципе решавшей вопрос о русской конституции. Речь шла о

том, чтобы, по подлинному выражению социал-демократической публицистики того времени, «последним пинком раздавить гадину». И такие заявления делались тогда, когда еще не было созвано народное представительство, когда действительное настроение всего народа и, главное, степень его подготовки к политической жизни, его политическая выдержка никому еще не были известны. Никогда никто еще с таким бездонным легкомыслием не призывал к величайшим политическим и социальным переменам, как наши революционные партии и их организации в дни свободы. Достаточно указать на то, что ни в одной великой революции идея низвержения монархии не являлась наперед выброшенным лозунгом. И в Англии XVII века, и во Франции XVIII века низпровержение монархии получилось в силу рокового сцепления фактов, которых никто не предвидел, никто не призывал, никто не «делал».

Недолговечная английская республика родилась после веков существования парламента в великой религиозно-политической борьбе усилиями людей, вождь которых являлся, быть может, самым сильным и ярким воплощением английской государственной идеи и поднял на небывалую высоту английскую мощь. Французская монархия пала вследствие своей чисто политической неподготовленности к тому государственному перевороту, который она сама начала. А основавшаяся на ее месте республика, выкованная в борьбе за национальное бытие, как будто явилась только для того, чтобы уступить место новой монархии, которая, в конце концов, пала в борьбе с внешними врагами. Наполеон I создал вокруг себя целую легенду, в которой его личность тесно сплелась с идеей мощи и величия государства, а восстановленная после его падения династия была призвана и посажена на престол чужеземцами и в силу этого уже с самого начала своей реставрации была государственно слаба. Но Бурбоны, в лице Орлеанов, конечно, вернулись бы на французский трон после 1848 года, если бы их не предупредил Наполеонид, сильный национально-государственным обаянием первой Империи. Падение же Наполеона III на этой подготовленной к государственным переворотам почве было обусловлено полным, беспримерным в истории военным разгромом государства. Так в новейшей французской истории почти в течение целого столетия продолжался политический круговорот от республики к монархии и обратно, круговорот, полный великих государственных событий.

Чужой революционный опыт дает наилучший комментарий к нашему русскому. Интеллигенция нашла в народных массах лишь смут-

ные инстинкты, которые говорили далекими голосами, сливавшимися в какой-то гул. Вместо того, чтобы этот гул претворить систематической воспитательной работой в сознательные членораздельные звуки национальной личности, интеллигенция прицепила к этому гулу свои короткие книжные формулы. Когда гул стих, формулы повисли в воздухе.

В ту борьбу с исторической русской государственностью и с «буржуазным» социальным слоем, которая после 17-го октября была проведена с еще большей страстностью и в гораздо более революционных формах, чем до 17 октября, интеллигенция внесла огромный фанатизм ненависти, убийственную прямолинейность выводов и построений, и ни гроша - религиозной идеи.

Религиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-видимому, не имеет отношения к политике. Однако, только по-видимому. Не случайно, что русская интеллигенция, будучи безрелигиозной в том неформальном смысле, который мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, неделовита, легкомысленна в политике. Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения - словом тут была и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания. Это противоречие, конечно, свойственно по существу всякому окрашенному материализмом и позитивизмом радикализму. Но ни над одной живой исторической силой оно не тяготело и не тяготело в такой мере, как над русской интеллигенцией. Радикализм или максимализм может находить себе оправдание только в религиозной идее, в поклонении и служении какому-нибудь высшему началу. Во-первых, религиозная идея способна смягчить углы такого радикализма, его жесткость и жестокость. Но кроме того, и это самое важное, религиозный радикализм апеллирует к внутреннему существу человека, ибо с религиозной точки зрения проблема внешнего устройства жизни есть нечто второстепенное. Поэтому как бы решительно ни ставил религиозный радикализм политическую и социальную проблему, он не может не видеть в ней проблемы воспитания человека. Пусть воспитание это совершается путем непосредственного общения человека с Богом, путем, так сказать, над-человеческим, но все-таки это есть воспитание и совершенствование человека, обращающееся к нему самому, к его внутренним силам, к его чувству ответственности.

Наоборот, безрелигиозный максимализм, в какой бы то ни было форме, отмечает проблему воспитания в политике и в социальном стро-

ительстве, заменяя его внешним устроением жизни.

Говоря о том, что русская интеллигенция идейно отрицала или отрицает личный подвиг и личную ответственность, мы, по-видимому, приходим в противоречие со всей фактической историей служения интеллигенции народу, с фактами героизма, подвижничества и самоотвержения, которыми отмечено это служение. Но нужно понять, что фактическое упражнение самоотверженности не означает вовсе признания идеи личной ответственности, как начала, управляющего личной и общественной жизнью. Когда интеллигент размышлял о своем долге перед народом, он никогда не додумывался до того, что выражающаяся в начале долга идея личной ответственности должна быть адресована не только к нему, интеллигенту, но и к народу, т. е. ко всякому лицу, независимо от его происхождения и социального положения. Аскетизм и подвижничество интеллигенции, положившей все силы на служение народу, несмотря на всю свою привлекательность, были, таким образом, лишены принципиального морального значения и воспитательной силы.

Это обнаружилось с полной ясностью в революцию. Интеллигентская доктрина служения народу не предполагала никаких обязанностей у народа и не ставила ему никаких воспитательных задач. А так как народ состоит из людей, которыми двигают интересы и инстинкты, то, просочившись в народную среду, интеллигентская идеология должна была дать вовсе не идеалистический плод. Народническая, не говоря о марксистской, проповедь в исторической действительности превращалась в разнузданье и деморализацию.

Вне идеи воспитания в политике есть только две возможности: деспотизм или охлократия. Предъявляя самые радикальные требования, во имя их призывая народ к действиям, наша радикальная интеллигенция совершенно отрицала воспитание в политике и ставила на его место возбуждение. Но возбуждение быстро сыграло свою роль и не могло больше ничего дать. Когда оно спало, момент был пропущен, и воцарилась реакция. Дело, однако, вовсе не в том только, что пропущен был момент.

В настоящее время отвратительное торжество реакции побуждает многих забывать или замалчивать ошибки пережитой нами революцией. Не может быть ничего более опасного, чем такое забвение, ничего более легкомысленного, чем такое замалчивание. Такому отношению, которое нельзя назвать иначе, как политическим импрессионизмом, необходимо противопоставить поднимающийся над впечатлениями теку-

шего момента анализ морального существа того политического кризиса, через который прошла страна со своей интеллигенцией во главе.

Прививка политического радикализма интеллигентских идей к социальному радикализму народных инстинктов совершилась с ошеломляющей быстротой. В том, как легко и стремительно стала интеллигенция на эту стезю политической и социальной революции пострадавших народных масс, заключалась не просто политическая ошибка, не просто грех тактики. Тут была ошибка моральная. В основном, тут лежало представление, что «прогресс» общества может быть не плодом совершенствования человека, а ставкой, которую следует сорвать в исторической игре, апеллируя к народному возбуждению.

Политическое легкомыслие и неделовитость присоединились к этой основной моральной ошибке. Если интеллигенция обладала формой религиозности без ее содержания, то ее «позитивизм», наоборот, был чем-то совершенно бесформенным. То были «положительные», «научные» идеи без всякой истинной положительности, без знания жизни и людей, «эмпиризм» без опыта, «революционализм» без мудрости и даже без здравого смысла.

Революцию делали плохо. В настоящее время с полной ясностью раскрывается, что в этом делании революции играла роль ловко инсценированная провокация. Это обстоятельство, однако, только ярко иллюстрирует поразительную неделовитость революционеров, их практическую беспомощность, лень, но не в нем суть дела. Она не в том, как делали революцию, а в том что ее вообще делали. Делали революцию в то время, когда задача состояла в том, чтобы все усилия сосредоточить на политическом воспитании и самовоспитании. Война раскрыла глаза народу, пробудила национальную совесть, и это пробуждение открывало для работы политического воспитания такие широкие возможности, которые обещали самые обильные плоды. И вместо этого что же мы видели? Две всеобщие стачки с революционным взвинчиванием рабочих масс, ряд военных бунтов, бессмысленных и жалких, московское восстание, которое было гораздо хуже, чем оно представилось в первый момент, бойкот выборов в первую думу и подготовка дальнейших вооруженных восстаний, разразившихся уже после роспуска Государственной Думы. Все это должно было терроризировать и, в конце концов, смести власть. Власть была, действительно, терроризирована. Явились военно-полевые суды и бесконечные смертные казни. И затем государственный испуг превратился в нормальное политическое состоя-

ние, в котором до сих пор пребывает власть, в котором она осуществила изменение государственного закона: теперь потребуются годы, чтобы сдвинуть страну с этой мертвой точки.

Итак, безрелигиозное отщепенство от государства, характерное для политического мировоззрения русской интеллигенции обусловило и ее моральное легкомыслие, и ее неделовитость в политике.

Что же следует из такого диагноза? Прежде всего - и это я уже подчеркнул выше, - вытекает то, что недуг заложен глубоко, что смешно, рассуждая о нем, говорить о политической тактике. Интеллигенции необходимо пересмотреть все свое мировоззрение и в том числе подвергнуть пересмотру его главный устой - то социалистическое отрицание личной ответственности, о котором мы говорили выше. С вынуждением этого камня - а он должен быть вынут - рухнет все здание этого мировоззрения.

* * *

Русская интеллигенция, отрешившись от безрелигиозного государственного отщепенства, перестанет существовать, как некая особая культурная категория. Сможет ли она совершить огромный подвиг такого преодоления своей нездоровой сущности? От решения этого вопроса в значительной мере зависят судьбы России и ее культуры. Можно ли дать на него какой-нибудь определенный ответ в настоящий момент? Это очень трудно, но некоторые данные для ответа все-таки имеются.

Есть основание думать, что изменение произойдет из двух источников и будет носить соответственно этому двойкий характер. Во-первых, в процессе экономического развития интеллигенция «обуржуазится», т.е. в силу процесса социального приспособления примирится с государством и органически или стихийно втянется в существующий общественный уклад, распределившись по разным классам общества. Это, собственно, не будет духовным переворотом, а именно лишь приспособлением духовной физиономии к данному социальному укладу. Быстрота этого процесса будет зависеть от быстроты экономического развития России и от быстроты переработки всего ее государственного строя в конституционном духе.

Но может наступить в интеллигенции настоящий духовный переворот, который явится результатом борьбы идей. Только этот переворот и представляет для нас интерес в данном случае. Какой гороскоп можно составить ему?

В интеллигенции началось уже глубокое брожение, зародились новые идеи, а старые идейные основы поколеблены и скомпрометированы. Процесс этот только что еще начался, и какие успехи он сделает, на чем он остановится, в настоящий момент еще нельзя сказать. Но и теперь уже можно сказать, что поскольку русская идейная жизнь связана с духовным развитием других, дальше нас ушедших стран, процессы, в них происходящие, не могут не отражаться на состоянии умов в России. Русская интеллигенция, как особая культурная категория, есть порождение взаимодействия западного социализма с особенными условиями нашего культурного, экономического и политического развития. До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только «образованный класс» и разные в нем направления. Для духовного развития Запада нет в настоящую эпоху процесса более знаменательного и чреватого последствиями, чем кризис и разложение социализма. Социализм, разлагаясь, поглощается социальной политикой. Бенетам победил Сен Симона и Маркса. Последнее усилие спасти социализм - синдикализм - есть, с одной стороны, попытка романтического возрождения социализма, откровенного возведения его к стихийным иррациональным началам, а с другой стороны он означает столь же откровенный призыв к варварству. Совершенно ясно, что это усилие бессильно и бесплодно. При таких условиях социализм вряд ли может оставаться для тех элементов русского общества, которые составляют интеллигенцию, живой водой их духовного бытия.

Самый кризис социализма на Западе потому не выступает так ярко, что там нет интеллигенции. Нет на Западе того чувствительного, которое представляет интеллигенция. Поэтому по России кризис социализма в идейном смысле должен ударить с большей силой, чем по другим странам. В этом кризисе встанут те же самые проблемы, которые лежат в основе русской революции и ее перипетий. Но если наша «интеллигенция» может быть более чувствительна к кризису социализма, чем «западные» люди, то с другой стороны самый кризис у нас и для нас прикрыт нашей злосчастной «политикой», возрождением недобитого абсолютизма и разгулом реакции. На западе принципиальное значение проблем и органический характер кризиса гораздо яснее.

Такой идейный кризис нельзя лечить ни ромашкой тактических директив, ни успокоительным режимом бездействующей культурной работы. Нам нужна, конечно, упорная работа над культурой. Но именно для того, чтобы в ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, — творческая

борьба идей.

Н. А. БЕРДЯЕВ

СЛОВА И РЕАЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Многие думают, что главная беда России в том, что русское общество недостаточно либерально или радикально, и ждут многого от поворота нашего общества влево в традиционном смысле этого слова. И в этом мнении сказывается фатальная для нас власть слов и формальных понятий. Наше общество - либеральное и левое, но этот либерализм и эта левость - бессильны и выражаются по преимуществу в оппозиционной настроенности или негодовании. Главная беда России - не в недостатке левости, которая может возрастать без всяких существенных изменений для русской общественности, а в плохой общественной клетке, в недостатке настоящих людей, которых история могла бы призвать для реального, подлинно радикального преобразования России, в слабости русской воли, в недостатке общественного самовоспитания и самодисциплины. Русскому обществу не хватает характера, способности определяться изнутри. Русского человека слишком легко заедает «среда», и он слишком подвержен эмоциональным реакциям на все внешнее. «Радикалы» и «левые» могут быть совершенно не годным материалом для новой, возрожденной России. Не следует поддаваться иллюзиям словосочетаний. Важно и существенно каков сам народ, а не каковы его словесные лозунги и отвлеченные политически понятия.

Так, например, наши «правые» были плохим материалом для истинного консерватизма. Они всегда скорее были разрушителями, чем охранителями каких-либо ценностей. Патриотическая, национальная и государственная фразеология правых - слова, слова и слова. Наши правые круги лишены истинного государственного и национального сознания. Такое сознание можно встретить у отдельных лиц, но не у общественных слоев и групп. Полное отсутствие настоящего консерватизма - фатальная особенность России. «Правая» Россия начала уже разлагаться, когда «левая» Россия не вполне еще созрела. Все происхо-

дит у нас слишком поздно. И мы слишком долго находимся в переходном состоянии, в каком-то междуцарствии.

Пафос правдолюбия - великий пафос народа. А вокруг наших слов, понятий и формул, правых, левых и средних, накопилось слишком много условной лжи и гнили. Поистине, одну великую революцию предстоит нам совершить — революцию свержения ложных и лживых, пустых и выветрившихся слов, формул и понятий. Нужно перестать бояться ярлыков, которые так любят наклеивать, чтобы словесно ими возвеличивать или унижать людей. Нужно прозревать за словами реальность. А настоящее прозрение есть также прозрение к многому, ничтожному и несущему. Так должно совершиться воспитание самостоятельности общественного характера, созревание самостоятельной общественной мысли.

Трагедия войны 1914 года дает перевес делам над словами - она выявляет реальности и низвергает фикции. Так правая бюрократия со своей национально-государственной фразеологией явно жила фикциями и пустыми словами. Это обнаружено. Ложь низвергнута. Теперь уже яснее становится, кто действительно патриот, кто любит свою родину и готов служить ей. Слова националистов взвешены на весах истории. В прошлую зиму у нас начало было распространяться лжепатриотическое настроение, не допускавшее в России самокритики, настроение безответственное и приводившее к самохвальству. У одних оно выражалось в реставрации религиозно-славянофильской фразеологии, более возвышенной, у других - фразеологии государственно-националистической, менее возвышенной. Но эти настроения были сметены событиями. В это лето (1915 г.) начался подлинный, здоровый патриотический подъем, возросло чувство общественной ответственности, которое всегда предполагает самокритику. Словам и фикциям противопоставлены реальности. Нездоровый патриотизм, боявшийся правды и выражавшийся в словесной идеализации того, что есть, заменяется здоровым патриотизмом, глядящим бесстрашно в глаза самой горькой правде, выражающимся в служении тому, что должно быть. И дышать стало легче, хотя события мрачны и тяжелы. Можно говорить правду и призывать к делам правды. В той удушливой атмосфере, которая одно время образовалась, могли раздаваться лишь лживые слова, расцветали лишь фиктивные идеологии.

Для низвержения фиктивной власти слов нужна свобода слова. В атмосфере несвободы процветают пустые слова - и они неопровержи-

мы. Слово само по себе божественно, и божественный смысл слов может быть выявлен только в атмосфере свободы, реализм слов в борьбе побеждает номинализм слов. Несвобода питает пустую фразеологию «левую» и пустую фразеологию «правую». Реальности стоящие за словами, не могут быть выявлены. Совершенная свобода слова есть единственно реальная борьба с злоупотреблением словами, с вырождением слов. Только в свободе право слов победит лож слов, реализм победит номинализм. Свобода слов ведет к естественному подбору слов, к выживанию слов жизненных и подлинных. Лживые и пустые слова будут продолжать звучать, но они не будут иметь того ореола, который создается для них атмосферой гнета и придавленности.

Сделайте слово более властным, и прекратится власть слов над общественной жизнью: слова-реальности победят слова-фикции. Свобода ведет к ответственности. Несвобода все делает безответственным. Восстановление смысла слов, правдивого, реального и полновесного употребления слов ведет к тому сознанию, что общество наше должно не переодеться хотя бы в самый радикальный костюм, не покровы переменить, а действительно переродиться, изменить ткань свою. Власть слов была властью внешнего. А мы должны обратиться к внутреннему. Вся жизнь должна начать определяться изнутри, а не извне, из глубины воли, а не из поверхностной Среды.

А. БЛОК

СТИХИЯ И КУЛЬТУРА

На доклад мой, озаглавленный «Народ и интеллигенция», было сделано очень много возражений, устных и печатных. То, о чем я буду говорить сегодня, представляет развитие все той же темы.

Защищать себя от упреков я не хочу, но защищать свою тему буду. Если у самого меня действительно не хватило голоса (как сказал Д.С. Мережковский), то тема моя, я в этом уверен, рано или поздно, погасит все докучные партийные и личные споры.

Мои вопросы поставлены не мною, их поставила история России. На один из поставленных вопросов - о «недоступной черте», существующей между интеллигенцией и народом, ответил утвердительно не

я. - ответила история России. Думаю, что споры о том, совершился или не совершился крупный и очевидный факт, свидетелями которого были не только мы, но и предки наши, надо отнести к спорам, возникающим по недоразумению, по недоверию, по непониманию; или - к спорам тактического свойства, выдерживающим критику в стенах «третьих» Дум, но не на вольном воздухе жизни.

Я думаю, что в сердцах людей последних поколений залегло неотступное чувство катастрофы, вызванное чрезмерным накоплением реальных фактов, часть которых - дело совершившееся, другая часть - дело, имеющее свершиться. Совершенно понятно, что люди всячески стремятся заглушить это чувство, стремятся как бы отбить свою память, о чем-то не думать, полагать, что все идет своим путем, игнорировать факты. так или иначе напоминающие о том, что уже было и что еще будет. Другие, напротив, видят сны от «множества забот», как говорит Экклезиаст; они суетливы во всех делах своих, потому что мучатся воспоминанием и не могут припомнить; в каждом деле своем они чувствуют, что за ними стоит что-то, что одно только может разрешить сомнения и муки: а без такого разрешения - никакое дело не дело.

Словом, как будто современные люди нашли около себя бомбу: всякий ведет себя так, как велит ему его темперамент; одни вскрывают бомбу, пытаясь разрядить снаряд; другие только смотрят, выпучив от страха глаза, и думают, завертится она или не завертится, разорвется или не разорвется; третьи притворяются, что ровно ничего не произошло, что круглая штука, лежащая на столике, вовсе не бомба, а так себе - большой апельсин, а все совершающееся - только чья-то милая шутка; четвертые, наконец, спасаются бегством, все время стараются устроиться так, чтобы их не упрекнули в нарушении приличий или не уличили в трусости.

Однако никто не шутил, никто не хотел ни напугать, ни позабавить. История, та самая история, которая, говорят, сводится попросту к политической экономии, взяла да и положила нам на стол настоящую бомбу. И бомбу не простую, а усовершенствованную, вроде той сверлящей и образующей аккуратные трещины пульки, которую англичане придумали для усмирения индусов. Эта пулька уже приведена в действие: пока мы рассуждали о цельности и благополучии, о бесконечном прогрессе, - оказалось, что высверлены аккуратные трещины между человеком и природой, между отдельными людьми и, наконец, в каждом человеке разлучены душа и тело, разум и воля.

И потому, хотим мы или не хотим, помним или забываем. - во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, или разрыва. Это чувство разрыва никто не станет отрицать в целом, но, чуть только попытаешься перевести его на конкретное, - немедленно найдутся ярые отрицатели болезни и защитники своей цельности.

* * *

дивое, весьма полное и прекрасно составленное изложение нашего политического, общественного и религиозного положения, а виконт де Вогюз в целом ряде блестящих работ, посвященных русской литературе, отнесся к своему предмету не только как знаток его, но и как энтузиаст.

Благодаря этим писателям и еще многим другим просвещенная часть европейской публики должна быть достаточно ознакомлена с Россией во всем, что касается многообразных сторон ее реального существования. Но это знакомство с русскими делами оставляет всегда открытым вопрос другого порядка, весьма затемненный могущественными предрассудками, вопрос, который и в самой России в большинстве случаев получал лишь нелепые разрешения. Беспольный в глазах некоторых, слишком смелый в глазах других, этот вопрос в действительности является самым важным из всех для русского, да и вне России он не может показаться лишенным интереса для всякого серьезного мыслящего человека. Я имею в виду вопрос о смысле существования России во всемирной истории. Когда видишь, как эта огромная империя с большим или меньшим блеском в течение двух веков выступала на мировой сцене, когда видишь, как она по многим второстепенным вопросам приняла европейскую цивилизацию, упорно отбрасывая ее по другим, более важным, сохраняя таким образом оригинальность, которая, хотя и является чисто отрицательной, но не лишена тем не менее своеобразного величия, - когда видишь этот великий исторический факт, то спрашиваешь себя: какова же та мысль, которую он скрывает за собою или открывает нам; каков идеальный принцип, одушевляющий это огромное тело, какое новое слово скажет этот новый народ человечеству; что желает он сделать в истории мира? Чтобы разрешить этот вопрос, мы обратимся к общественному мнению сегодняшнего дня, что поставило бы нас в опасность быть разочарованными событиями последующего дня. Мы поищем ответа в вечных истинах религии. Ибо идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но и то, что Бог думает о ней в вечности.

I

Раз мы признаем существенное и реальное единство человеческого рода - а признать его приходится, ибо это есть религиозная истина, оправданная рациональной философией и подтвержденная точной нау-

кой, - раз мы признаем это субстанционное единство, мы должны рассматривать человечество в его целом, как великое собирательное существо или социальный организм, живые члены которого представляют различные нации. С этой точки зрения очевидно, что ни один народ не может жить в себе, через себя и для себя, но жизнь каждого народа представляет лишь определенное участие в общей жизни человечества. Органическая функция, возложенная на ту или иную нацию в этой вселенской жизни, - вот ее истинная национальная идея, предвечно установленная в плане Бога.

Но если человечество и действительно представляет некоторый большой организм, то не следует забывать, однако, что мы не имеем в данном случае дела с организмом чисто физическим, и следует помнить, что члены и элементы, из которых он состоит, - нации и индивиды - суть существа моральные. А коренное условие морального существа лежит в том, что особая функция, которую оно призвано выполнять во вселенской жизни, идея, которою определяется его существование в мысли Бога, никогда не выступает в качестве материальной необходимости, но только в форме морального обязательства. Мысль Бога, являющаяся безусловным роком для вещей, для существа морального только долг. Но, хотя и очевидно, что долг может быть выполнен или не выполнен, может быть выполнен хорошо или дурно, может быть принят или отвергнут, невозможно, с другой стороны, допустить, чтобы эта свобода могла изменить провиденциальный план или лишить моральный закон его действенности. Моральное воздействие Бога не может быть менее могущественным, чем его физическое воздействие. Поэтому следует признать, что в мире моральном есть также роковая необходимость, но роковая необходимость косвенная и обусловленная. Призвание, или та особая идея, которую мысль Бога полагает для каждого морального существа - индивида или нации - и которая открывается сознанию этого существа как его верховный долг, - эта идея действует во всех случаях как реальная мощь, она определяет во всех случаях бытие морального существа, но делает она это двумя противоположными способами: она проявляется как закон жизни, когда долг выполнен, и как закон смерти, когда это не имело места. Моральное существо никогда не может освободиться от власти божественной идеи, являющейся смыслом его бытия, но от него самого зависит носить ее в сердце своем и в судьбах своих как благословение или как проклятие.

Только что сказанное мною есть общее место или должно бы быть

таковым для всякого - я не скажу христианина - но хотя бы монотеиста. И действительно, против этих мыслей не находят никаких возражений, когда они предлагаются в общих формах; протест обычно бывает направлен против применения их к национальному вопросу. В этом последнем случае общее место внезапно превращается в мистическую мечту, и аксиома становится субъективной фантазией. «Кому была когда-либо открыта мысль Бога о какой-либо нации, кто может говорить народу о его долге? Проявлять свою мощь, преследовать свой национальный интерес - вот все, что надлежит делать народу, и долг патриота сводится к тому, чтобы поддерживать свою страну и служить ей в этой национальной политике, не навязывая ей своих субъективных идей. А для того, чтобы узнать истинные интересы нации и ее действительную историческую миссию, есть только одно верное средство, это - спросить у самого народа, что он об этом думает, призвать на совет общественное мнение». Однако есть нечто странное в этом, по-видимому, столь здравом сужении.

Это эмпирическое средство узнать истину решительно неприменимо там, где мнение нации дробится, что имеет место почти всегда. Какое из общественных мнений Франции есть истинное: мнение католиков или мнение франкмасонов? И раз я русский, какому из национальных мнений должен я пожертвовать моими субъективными идеями: мнению официальной или официозной России, России настоящего, или тому мнению, которое несколько миллионов наших староверов, этих истинных представителей традиционной России, России прошлого, для которых наша церковь и наше государство в их настоящем виде суть царство Антихриста; а то, может быть, не обратиться ли нам еще к нигилистам: ведь они, быть может, являют собой будущее России.

II

Мне незачем настаивать на этих трудностях, раз история дает в подтверждение моего положения доказательство прямое и общеизвестное. Если в философии истории вообще есть твердо установленные истины, то таковой следует считать то положение, что конечное призвание еврейского народа, истинный смысл его существования существенно связаны с мессианской идеей, то есть с идеей христианской. Однако не похоже на то, чтобы общественное мнение и национальное чувство

евреев было особенно благорасположено к христианству. Я не хочу обращаться с избитыми упреками к этому единственному в своем роде и таинственному народу, который в конце концов и есть народ пророков и апостолов, народ Иисуса Христа и Пресвятой Девы. Этот народ еще жив, и, по словам Нового Завета, его ожидает полное возрождение и обновление: «Весь Израиль спасется». И я считаю нужным сказать, хотя и не могу доказать здесь правоты своего убеждения: «ожесточение» евреев не есть единственная причина их враждебного положения по отношению к христианству. В России в особенности, где никогда не делали попытки приложить к евреям начала христианства, осмелимся ли мы потребовать от них, чтобы они были более христианами, чем мы сами? Я хотел только напомнить тот знаменательный исторический факт, что народ, предназначенный даровать миру христианство, выполнил эту миссию лишь против воли своей. Что в громадном большинстве своем и в течении восемнадцати веков он упорно отмечает божественную идею, которую он носил в лоне своем и которая была истинным смыслом его существования. Посему не может уже считаться дозволенным теперь говорить, что общественное мнение нации всегда право и что народ никогда не может заблуждаться в своем истинном призвании или отвергать его.

Но, может быть, этот приведенный мною исторический факт сам представляет лишь религиозный предрассудок, и роковая связь, предполагаемая между судьбами израильского государства и христианством, - лишь субъективная фантазия? Я могу привести, однако, чрезвычайно простое доказательство, ярко освещающее реальный и объективный характер приведенного нами факта.

Если взять нашу Библию, собрание книг, начинающееся книгой Бытия и кончающееся Апокалипсисом, и разобрать ее помимо каких бы то ни было религиозных убеждений, как простой исторический и литературный памятник, то мы принуждены будем признать, что перед нами произведение законченное и гармоничное: создание неба и земли и падение человечества в лице первого Адама - в начале, восстановление человечества в лице второго Адама, или Христа, - в центре, и в конце — апокалиптический апофеоз, создание неба нового и земли новой «в них же правда живет», откровение преображенного и прославленного мира, Нового Иерусалима, нисходящего с небес, скинии, где Бог с людьми обитает (Апок. XXI). Конец произведения связан здесь с началом, создание мира физического и история человечества объясне-

ны и оправданы откровением мира духовного, представляющего совершенное единение человечества с Богом. Дело завершено, круг замкнулся, и даже с чисто эстетической точки зрения ощущается удовлетворение. Посмотрим теперь как заканчивается Библия евреев. Последняя книга этой Библии есть «Дибре-га-ямим», книга Паралипоменон, и вот заключение последней главы этой книги: «Так говорит Кир, царь Персидский: «Все царства земли дал мне Ягве, Бог небесный; и Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас - из всего народа Его? Да будет Ягве, Бог его, с ним и пусть он туда едет!» Между этим заключением и заключением христианской Библии, между словами Христа во славе Его: «Я Альфа и Омега, начало и конец; я даю жаждущему от источника воды живой даром; победивший унаследует все, и Я буду его Богом и он будет Мне сыном», между этими словами и словами царя персидского, между этим домом, который надлежит воздвигнуть во Иерусалиме иудейском, и жилищем Бога и с Ним людей в новом Иерусалиме, сходящем с небес, контраст воистину поразительный. С точки зрения евреев, отвергающих великую универсальную развязку своей национальной истории, открытую в Новом Завете, пришлось бы признать, что сотворение неба и земли, призвание, возложенное на патриархов, миссия Моисея, чудеса Исхода, откровение на Синае, подвиги и гимны Давида, мудрость Соломона, вдохновение пороков - что все эти чудеса и вся эта святая слава привели в конце концов лишь к манифесту языческого царя, повелевающего горстке построить второй Иерусалимский храм, тот храм, бедность которого по сравнению с великолепием первого вызвала слезы у старцев Иудеи и который в последствии был расширен и украшен иудейцем Иродом лишь для того, чтобы быть окончательно разрушенным солдатами Тита. Итак, не субъективный предрассудок христианина, а памятник национальной мысли самих евреев ясно доказывает, что вне христианства историческое дело Израиля потерпело крушение и что, следовательно, народ при случае может не понять своего призвания.

III

Я не отклонился от своего предмета, говоря о Библии евреев. Ибо в этой прерванной Библии, в этом контрасте величественного начала и жалкого конца есть нечто, напоминающее мне судьбы России, если рас-

смаatrивать их с точки зрения исключительно националистической, господствующей у нас в данное время и соединяющей в молчаливом согласии Киаиф и Иродов нашей бюрократии с зилотами воинствующего панславизма.

Действительно, когда я думаю о пророческих лучах великого будущего, озарявших первые шаги нашей истории, когда я вспоминаю о благородном и мудром акте национального самоотречения, создавшем более тысячи лет тому назад русское государство в дни, когда наши предки, видя недостаточность туземных элементов для организации общественного порядка, по своей доброй воле и по зрелом размышлении призвали к власти скандинавских князей, сказав им достопамятные слова: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, приходите княжить и владеть нами». А после столь оригинального установления материального порядка не менее замечательное водворение христианства и великолепный образ Святого Владимира, усердного и фанатического поклонника идолов, который, почувствовав неудовлетворенность язычества и испытывая внутреннюю потребность в истинной религии, долго размышлял и совещался, прежде чем принять эту последнюю; но, став христианином, пожелал быть им на самом деле и не только отдался делам милосердия, ухаживая за больными и бедными, но проявил большое проникновение евангельским духом, чем крестившие его греческие епископы: ибо этим епископам удалось только путем утонченных аргументов убедить этого, некогда столь кровожадного князя в необходимости применять смертную казнь к разбойникам и убийцам: «Боюсь греха», — говорил он своим духовным отцам. И затем, когда за этим «красным солнышком» — так народная поэзия прозвала нашего первого христианского князя, — когда за этим красным солнышком, озарявшим начало нашей истории, последовали века мрака и смут, когда после долгого ряда бедствий, оттесненный в холодные леса северо-востока, притупленный рабством и необходимостью тяжелого труда на неблагодарной почве, отрезанный от цивилизованного мира, едва доступный даже для послов главы христианства, русский народ опустилсЯ до грубого варварства, подчеркнутого глупой и невежественной национальной гордостью, когда, забыв истинное христианство Святого Владимира, московское благочестие стало упорствовать в нелепых спорах об обрядовых мелочах и когда тысячи людей посылались на костры за излишнюю привязанность к типографским ошибкам в старых церковных книгах, — внезапно в этом хаосе варварства подымается колоссальный и един-

ственный в своем роде образ Петра Великого. Отбросив слепой национализм Москвы, проникнутый просвещенным патриотизмом, видящим истинные потребности своего народа, он не останавливается ни перед чем, чтобы внести, хотя бы насильственно, в Россию ту цивилизацию, которую она презирала, но которая была ей необходима; он не только призывает эту чуждую цивилизацию, как могучий покровитель, но сам идет к ней, как смиренный служитель и прилежный ученик; и несмотря на крупные недочеты в его характере как частного лица, он до конца являет достойный удивления пример преданности долгу и гражданской доблести. И вот, вспоминая все это, говоришь себе: сколь велико и прекрасно должно быть в своем конечном осуществлении национальное дело, имевшее таких предшественников, и как высоко должна, если она не хочет уступать, ставить свою цель страна, имевшая во времена своего варварства своими представителями Святого Владимира и Петра Великого. Но истинное величие России - мертвая буква для наших лжепатриотов, желающих навязать русскому народу историческую миссию на свой образец и в пределах своего понимания. Нашим национальным делом, если их послушать, является нечто, чего проще на свете не бывает, и зависит оно от одной единственной силы - силы оружия. Добить издыхающую Оттоманскую империю, а затем разрушить монархию Габсбургов, поместив на месте этих двух держав кучу маленьких независимых национальных королевств, которые только и ждут этого торжественного часа своего окончательного освобождения, чтобы броситься друг на друга. Действительно, стоило России страдать и бороться тысячу лет, становиться христианской со Святым Владимиром и европейской с Петром Великим, постоянно занимая при этом своеобразное место между Востоком и Западом, и все это для того, чтобы в последнем счете стать орудием «великой идеи» сербской и «великой идеи» болгарской!

Но, скажут нам, не в этом дело: истинная цель нашей национальной политики - это Константинополь. По-видимому греков уже перестали принимать в расчет, а ведь у них есть тоже своя «великая идея» панэллинизма. Но самое важное было бы знать, с чем, во имя чего можем мы вступить в Константинополь? Что можем мы принести туда, кроме языческой идеи абсолютного государства, принципов цезарепапизма, заимствованных нами у греков и уже погубивших Византию? В истории мира есть события таинственные, но нет бессмысленных. Нет! Не этой России, какой мы видим ее теперь, России, изменившей луч-

шим своим воспоминаниям, урокам Владимира и Петра Великого, России, одержимой слепым национализмом и необузданным обскурантизмом, не ей овладеть когда-либо вторым Римом и положить конец роковому восточному вопросу. Если благодаря нашим ошибкам этот вопрос не может быть разрешен к вящей нашей славе, он будет разрешен к вящему нашему унижению. Если Россия будет упорствовать на пути гнетущего обскурантизма, на который вновь вступила теперь, место на востоке займет другая национальная сила, в значительной мере менее одаренная, но зато и значительно более устойчивая в своих ограниченных духовных силах. Болгары, вчера еще столь любезные нам и покровительствуемые нами, сегодня презренные бунтовщики в наших глазах, завтра станут нашими торжествующими соперниками и господами древней Византии.

IV

Не следует, впрочем, преувеличивать эти пессимистические опасения. Россия еще не отказалась от смысла своего существования, она не отреклась от веры и любви первой своей юности. В ее воле еще отказаться от этой политики эгоизма и национального отупения, которая неизбежно приведет к крушению нашу историческую миссию. Фальсифицированный продукт, называемый общественным мнением, фабрикуемый и продаваемый по дешевой цене оппортунистической прессой, еще не задушил у нас национальной совести, которая сумеет найти более достоверное выражение для истинной русской идеи. За этим не надо далеко ходить: она здесь, близко - эта истинная русская идея, засвидетельствованная религиозным характером народа, преобразованная и указанная важнейшими событиями и величайшими личностями нашей истории. И если этого недостаточно, то есть еще более великое и верное свидетельство - откровенное Слово Божие. Я не хочу сказать, чтобы в этом Слове можно было бы найти что-либо о России; напротив, молчание его указывает нам истинный путь. Если единственный народ, о котором специально пеклось божественное провидение, был народ израильский, если смысл существования этого единственного в своем роде народа лежал не в нем самом, но в приуготованном им христианском откровении и если, наконец, в Новом Завете уже нет речи о какой-либо отдельной национальности и даже определенно указывается, что ника-

кой национальный антагонизм не должен более иметь места, то не следует вывести из всего этого, что в первоначальной мысли Бога нации вне их органического и живого единства, - вне человечества? И если это так для Бога, то это должно быть так и для самих наций, поскольку они желают осуществить свою истинную идею, которая есть не что иное, как образ их бытия в вечной мысли Бога.

Смысл существования наций не лежит в них самих, но в человечестве. Но где же оно, это человечество? Не является ли оно лишь абстрактным существом, лишенным всякого реального бытия? С таким же правом можно было бы сказать, что рука и нога реально существуют, а человек в его целом есть лишь абстрактное существо. Впрочем, зоологам известны животные (принадлежащие по большей части к низшему классу *actinozoa*: медузы, полипы и т. д.), представляющие, в сущности, лишь весьма дифференцированные и живущие обособленной жизнью органы, так что животное в его целом существует лишь в идее. Таков был образ существования человеческого рода до христианства, когда в действительности существовали лишь *disjecta membra* вселенского человека - племена и нации, разделенные или частично связанные внешней силой, когда истинное существенное единство человека было лишь обетованием, пророческой идеей. Но эта идея стала плотью, когда абсолютный центр всех существ открылся во Христе. С тех пор великое человеческое единство, вселенское тело Богочеловека, реально существует на земле. Оно не совершенно, но оно существует; оно не совершенно, но оно движется к совершенству, оно растет и расширяется вовне и развивается внутренне. Человечество уже не абстрактное существо, его субстанциальная форма реализуется в христианском мире, во Вселенской Церкви.

Участвовать в жизни Вселенской Церкви, в развитии великой христианской цивилизации, участвовать в этом по мере сил и особых дарований своих, — вот в чем, следовательно, единственная истинная цель, единственная истинная миссия всякого народа. Это очевидная и элементарная истина, что идея отдельного органа не может обособлять его и ставить в положение противоборства к остальным органам, но что она есть основание его единства и солидарности со всеми частями живого тела. И с христианской точки зрения нельзя оспаривать приложимости этой совершенно элементарной истины ко всему человечеству, которое есть живое тело Христа. Вот почему сам Христос, признав в последнем слове своем к апостолам существование и признание всех

наций (Матф. XXVIII, 19), не обратился сам и не послал учеников своих ни к какой нации в частности: ведь для Него они существовали лишь в своем моральном и органическом союзе, как живые члены одного духовного и реального тела. Таким образом, христианская истина утверждает неизменное существование наций и прав национальности, осуждая в то же время национализм, представляющий для народа то же, что эгоизм для индивида: дурной принцип, стремящийся изолировать отдельное существо превращением различия в разделение, а разделения в антагонизм.

V

Русский народ - народ христианский, и, следовательно, чтобы познать настоящую русскую идею, нельзя ставить себе вопроса, что сделает Россия через себя и для себя, но что она должна сделать во имя христианского начала, признаваемого ею и во благо всего христианского мира, частью которого она предполагается. Она должна, чтобы действительно выполнить свою миссию, всем сердцем и душой войти в общую жизнь христианского мира и положить все свои национальные силы на осуществление, в согласии с другими народами, того совершенного и вселенского единства человеческого рода, непреложное основание которого дано нам в Церкви Христовой. Но дух национального эгоизма не так-то легко отдает себя на жертву. У нас он нашел средство утвердиться, не отрекаясь открыто от религиозного характера, присущего русской национальности. Не только признается, что русский народ - народ христианский, но напыщенно заявляется, что он - христианский народ по преимуществу и что Церковь есть истинная основа нашей национальной жизни; но все это лишь для того, чтобы утверждать, что Церковь имеется исключительно у нас и что мы имеем монополию веры и христианской жизни. Русская Церковь, поскольку она сохраняет истину веры, непрерывность преемственности от апостолов и действительность таинств, участвует по существу в единстве Вселенской Церкви, основанной Христом. И если, к несчастью, это единство существует у нас только в скрытом состоянии и не достигает живой действительности, то в этом виноваты вековые цепи, сковывающие тело нашей Церкви с нечистым трупом, удушающим ее своим разложением. Официальное учреждение, представителями которого является наше церковное уп-

равление и наша богословская школа, поддерживающее во что бы то ни стало свой партикуляристический и односторонний характер, бесспорно, не являет собою живую часть истинно вселенской Церкви, основанной Христом. Для того, чтобы выразить, что представляет собою в действительности это учреждение, мы уступим слово автору, свидетельство которого в данном случае имеет исключительную ценность. Один из самых выдающихся вождей «русской партии», горячий патриот и ревностный православный, в своем качестве славянофила открытый враг Запада вообще и римской церкви в частности, питающий отвращение к папству и чувство омерзения к иезуитам, И.С. Аксаков, не может быть заподозрен в предвзятом нерасположении к нашей национальной церкви как таковой. С другой стороны, хотя Аксаков и разделял предрассудки и заблуждения своей партии, он стоял выше обыденных панславистов и не только по своему таланту, но и по своей добросовестности, по искренности своей мысли и прямоте своих слов. Долгое время преследуемый администрацией, приговоренный к молчанию на двенадцать лет, он лишь в последние годы своей жизни получил в качестве личной, хотя и всегда проблематической, привилегии относительную свободу говорить в печати то, что думает.

VI

Итак, выслушаем этого честного и весьма авторитетного свидетеля людей. Он опирался в своем суждении на длинный ряд неоспоримых фактов, которые нам здесь приходится выпустить; нам довольно будет и того, что это говорит он:

«Наша Церковь, со стороны своего управления, представляется теперь у нас какою-то колоссальною канцелярией, прилагающей - с неизбежною, увы, канцелярскою официальною ложью - порядки немецкого канцеляризма к опасению стада Христова... Но с организацией самого управления, т. е. с организацией папства душ, на начале государственного формализма, по образу и подобию государства, с причислением служителей церкви к сонму слуг государственных, не превращается ли сама церковь в одно из отпращиваний государственной власти, не становится ли она одной из функций государственного организма - говоря отвлеченным языком, или, говоря проще, - не поступает

ли она сама на службу государству? По-видимому, церкви дано лишь правильное благоустройство, - введен, наконец, необходимый порядок... По-видимому, так, но случилась только одна безделица: убыла душа: подменен идеал, т.е. на месте идеала церкви очутился идеал государственный и правда внутренняя замещена правдою формальною, внешнею... Дело в том, что вместе с государственным элементом и государственным мирозерцанием, как тонкий воздух, почти нечувствительно прокралось в ум и душу едва ли не всей, за немногими исключениями, нашей церковной Среды и стеснило разумение да такой степени, что живой смысл настоящего призвания церкви становится также ей малодоступен... Встречаются просвещенные духовные лица, истинно горящие о недостаточно благоустроенном состоянии церкви, требующие от правительства издания свода законов церковных... Между тем более тысячи статей находим мы в своде законов, определяющих покровительство государства церкви и отношение полиции к вере и верующим...

На страже русского православия стоит государственная власть, с обнаженным поднятым мечом, - «хранительница догматов господствующей веры и блюстительница всякого в святой церкви благочестия», - готовая покарать малейшее отступление от того церковного, ею оберегаемого «правoverия», которое установлено не только изволением Святого Духа, вселенскими и поместными соборами, но и национальной идеей, выдвигаемой государством.

VIII

Чтобы удержать и проявить христианский характер России, нам нужно окончательно отречься от ложного божества нашего века и принести в жертву истинному Богу наш национальный эгоизм. Провидение поставило нас в особые условия, которые должны сделать эту жертву более совершенной и более действенной. Существует элементарный моральный закон, одинаково обязательный как для индивидов, так и для наций, и выраженный в словах Евангелия, повелевающих нам, прежде чем принести жертву к алтарю, примириться с братом, имеющим что-либо против нас. У русского народа есть брат, имеющий тяжелые обвинения против нас, и нам нужно помириться с этим народом - братом и врагом - для начала принесением в жертву нашего националь-

ного эгоизма на алтарь Вселенской Церкви.

Это не вопрос чувства, хотя и чувство должно было бы иметь свое место во всех человеческих отношениях. Но между сентиментальной политикой и политикой эгоизма и насилия есть нечто среднее: политика нравственной обязательности и справедливости. Я не хочу рассматривать здесь притязания поляков на восстановление их старого королевства, ни тех возражений, которые русские с полным правом могут им противопоставить. Дело не в осуществлении проблематических планов, а в очевидной и неоспоримой несправедливости, от которой нам следует отказаться во всяком случае. Я говорю о гнусной системе русификации, которая имеет дело уже не с политической автономией, но нападает на национальное существование, на самую душу польского народа. Обрушить Польшу - значит убить нацию, имеющую весьма развитое самосознание, имевшую славную историю и опередившую нас в своей интеллектуальной культуре, нацию, которая и теперь еще не уступает нам в научной и литературной деятельности. И хотя при этих условиях окончательная цель наших русификаторов, по счастью, недостижима, однако все, что предпринимается для ее осуществления, не становится от этого менее преступным и зловредным. Эта тираническая русификация, тесно связанная с еще более тираническим разрушением греко-униатской церкви, представляет воистину национальный грех, тяжелым бременем лежащим на совести России и парализующий ее национальные силы.

Бывали случаи, что великие нации в течение долгого времени одерживали победы в неправом деле. Но Провидение в особой заботливости о спасении нашей национальной души спешит, по-видимому, показать нам с полной очевидностью, что сила, даже победоносная, ни на что не пригодна, когда ею руководит нечистая совесть. Наш исторический грех отнял у последней нашей войны ее практические результаты, а вместе с ними ее моральную ценность; он преследовал на Балканах наших победоносных орлов и остановил их перед стенами Константинополя; отняв у нас уверенность и порыв народа, верного своей миссии, этот грех навязал нам вместо триумфа, купленного столькими героическими усилиями, унижение Берлинского конгресса и в заключение прогнал нас из Сербии и Болгарии, которым мы хотели оказать покровительство, продолжая угнетать Польшу.

Эта система гнета, применяемая не к одной только Польше, как ни плоха сама по себе, становится еще значительно хуже от того вопи-

ющего противоречия, в котором она стоит к великодушным освободительным идеям и бескорыстному покровительству, на которые русская политика всегда заявляла свое преимущественное право. Эта политика по необходимости пропитана лживостью и лицемерием, отнимающими у нее всякий престиж и делающими невозможным какой-либо прочный успех. Нельзя безнаказанно написать на своем знамени свободу славянских и других народов, отнимая в то же время национальную свободу у поляков, религиозную свободу у униатов и русских раскольников, гражданские права у евреев.

Не в таком состоянии, с устами загражденными, с завязанными глазами и душой, раздраемой противоречиями и угрызениями совести, надлежит идти России на свое историческое дело. Нам уже были даны два тяжелых урока, два строгих предостережения: в Севастополе, во-первых, и затем при еще более знаменательных обстоятельствах - в Берлине. Не следует ждать третьего предостережения, которое может быть последним. Раскаяться в своих исторических грехах и удовлетворить требованиям справедливости, отречься от национального эгоизма, отказавшись от политики русификации и признав без оговорок религиозную свободу, - вот единственное средство для России приготовить себя к откровению и осуществлению своей действительной национальной идеи, которая - этого не следует забывать - не есть отвлеченная идея или слепой рок, но прежде всего нравственный долг. Русская идея, мы знаем это, не может быть ничем иным, как некоторым определенным аспектом идеи христианской, и миссия нашего народа может стать для нас ясна, лишь когда мы проникаем в истинный смысл христианства.

IX

Вот уже около тридцати или сорока лет как более или менее почтенные писатели проповедуют нам, как во Франции, так и в России, некоторое идеальное христианство и идеальную церковь, духовное царство свободного братства и совершенной любви. Таков, конечно, идеал, то есть будущее церкви. Доктрина этих авторов есть пророчество. Но чтобы не быть лжепророчеством, она должна бы указывать нам прямой путь и действительные средства к осуществлению этого абсолютного

идеала. Идеал, если он только не пустая мечта, не может быть ничем другим, как осуществимым совершенством того, что уже дано. Разве отказом от прошлого Вселенской Церкви и разрушением ее формы, как она нам дана в настоящем, можем мы прийти к идеальному царству братства и совершенной любви? Это было бы лишь довольно уместным приложением закона отцеубийства, правящего нашей смертной жизнью. В этой жизни, определяемой состоянием извращенности природы, новое поколение достигает пользования действительностью лишь неблагородно вытесняя своих предков, но потому-то это преступное существование и длится лишь одно мгновение; и если Кронос, искалечив и вытеснив старого Ураноса, сам был в свою очередь устранен Зевсом, которого ему не удалось проглотить, то и этот новый бог вступил на оскверненный престол лишь для того, чтобы со временем потерпеть подобную же участь. Таков закон фальсифицированной и извращенной жизни, жизни, которой не надлежало бы быть, ибо она скорее смерть, чем жизнь; и в силу этого человечество, истомленное нескончаемостью бедствия, в смертельной тоске ждало, как истинного спасителя, Сына Бога, который не был бы соперником своего Отца. И теперь, когда этот истинный Сын, не замещающий, но являющий в себе и прославляющий Отца, пришел и дал возрожденному человечеству, Вселенской Церкви, закон бессмертной жизни, пытаются под новой маской ввести в саму эту Церковь, в этот организм истинной жизни, упраздненный закон смерти!

На самом деле во Вселенской Церкви прошлое и будущее, традиция и идеал не только не исключают друг друга, но равно существенны и необходимы для создания истинного настоящего человечества, его благосостояния в данное время. Благочестие, справедливость и милосердие, чуждые всякой зависти и всякому соперничеству, должны образовать устойчивую и нерасторжимую связь между тремя основными действующими силами социального и исторического человечества, между представителями его прошлого единства, его настоящей множественности и его будущей целостности.

Принцип прошлого, или отчества, осуществлен в Церкви священством, духовными отцами, старцами или старейшинами по преимуществу (*pretre* от *пресвитер* - *senior*), представителями на земле небесного Отца, Ветхого детьми. И для всеобщей, или католической, Церкви должно существовать общее, или интернациональное, священство, централизованное и объединенное в лице общего Отца всех народов; вер-

ховного просвященника. Очевидно, в самом деле, что национальное священство не может, как таковое, быть представителем общего отчества, долженствующего равно обнимать все нации. Реальное единство семьи не может существовать правильным и устойчивым образом без общего отца или кого-либо, замещающего его. Чтобы создать из индивидов и народов семью, реальное братство, необходимо осуществить здесь, на земле, отческий принцип религии в церковной монархии, которая действительно могла бы объединить вокруг себя все национальные и индивидуальные элементы и служить им постоянно живым образом и свободным орудием небесного отчества.

Вселенское или интернациональное, священство с Верховным Первосвященником как единственным центром отображает, одухотворяя его, первый возраст человечества, когда все народы в действительности были соединены общностью происхождения и тождественностью религиозных идей и правил жизни. В этом истинное прошлое человеческого рода, прошлое, не лежащее гнетом на настоящее, но служащее ему устойчивой основой, не исключающее будущего, но по существу иное с ним; что же касается настоящего человечества, то оно является нам определенным многообразием наций, стремящихся сплотиться в законченные тела, или государства, имеющие каждое отдельный независимый центр, светскую власть или мирское правительство, представляющее и направляющее объединенную деятельность национальных сил. Интересы человечества в целом не существуют для государства и светского правительства, обязанности которого ограничены той частью человеческого рода, во главе которой оно стоит. Вселенская Церковь, пребывая через посредство священнического чина, объединенного в лице Верховного Первосвященника, хранительницей религии всеобщего отчества, великого и вечного прошлого нашего рода, не исключает, однако, наличного многообразия наций и государств. Церковь не может только ни в каком случае санкционировать - и в этом она является верным орудием истины и воли Божией - раздоров и борьбы между нациями как окончательного состояния человеческого общества. Истинная Церковь всегда осудит доктрину, утверждающую, что нет ничего выше национальных интересов, это новое язычество, творящее себе из нации верховное божество, этот ложный патриотизм, стремящийся встать на место религии. Церковь признает права наций, нападая в то же время на национальный эгоизм; она уважает власть государства, но противоборствует его абсолютизму.

Национальные различия должны пребыть до конца веков; народы должны оставаться на деле обособленными членами вселенского организма. Но и сам этот организм должен также существовать на деле; великое человеческое единство не должно существовать лишь в виде скрытой силы или абстрактного существа, оно должно воплотиться в видимом социальном теле, явная и непрестанная центростремительная сила которого могла бы противодействовать множеству центробежных сил, раздирающих человечество.

Чтобы достигнуть идеала совершенного единства, нужно опираться на единство несовершенное, но реальное. Прежде чем объединиться в свободе, нужно объединиться в послушании. Чтобы возвыситься до вселенского братства, нации, государства и властители должны подчиниться сначала вселенскому сыновству, признав моральный авторитет общего отца. Забвение тех чувств, которые народы должны питать к религиозному прошлому человечества, было бы весьма плохим предзнаменованием для будущего этого последнего. Когда сеешь не чести, пожинаешь отнюдь не братство.

Истинная будущность человечества, над которой нам надлежит потрудиться, есть вселенское братство, исходящее из вселенского отчества через непрестанное моральное и социальное сыновство. Это будущее, которое для осуществление полного идеала должно согласить интересы настоящей жизни с правилами прошлого, было во все времена представляемо в церкви Бога истинными пророками. Общение Бога с людьми, или Вселенская Церковь (в широком смысле этого слова), имея священное орудие своего основного религиозного единства и в мирской власти орудие своей наличной национальной множественности, должна выявить также свою абсолютную целеустремленность, свое свободное и совершенное единство при посредстве пророков, свободно воздвигаемых Духом Божиим для просвещения народов и их властителей и непрестанно указывающих им на совершенный идеал человеческого общества.

Х

Таким образом, все три члена социального бытия одновременно представлены в истинной жизни Вселенской Церкви, направляемой совокупностью всех трех главных действующих сил: духовного авторитета вселенского первосвященника (непогрешимого главы священства),

представляющего истинное непреходящее прошлое человечества; светской власти национального государя (законного главы государства), сосредотачивающего в себе и олицетворяющего собою интересы, права и обязанности настоящего; наконец, свободного служения пророка (вдохновенного главы человеческого общества в его целом), открывающего начало идеального будущего человечества. Согласие и гармоническое действие этих трех главных факторов является первым условием истинного прогресса. Верховный Первосвященник есть представитель истинного, вечного отечества, а не ложного отечества языческого Крона (времени), пожирающего своих детей. Он, напротив, находит свою жизнь лишь в их жизни. Верный страж предания, утверждающий его неизменное единство, вселенский первосвященник не имеет надобности отвергать ни законных интересов настоящего, ни благородных порывов к идеалу совершенному; для доброго ограждения прошлого ему не нужно связывать настоящего и закрывать дверь перед будущим. С своей стороны, глава национального государства, если он достоин врученной ему власти, должен мыслить и действовать как истинный сын Вселенской Церкви (представленной Верховным Первосвященником), и тогда он есть истинный образ и орудие Сына и вечного Царя, того, кто творит не свою волю, но волю Отца и желает быть прославленным лишь для того, чтобы в себе прославить Отца. Наконец, свободный инициатор прогрессивного социального движения, пророк, если только он верен своему великому призванию, если он согласует свое личное вдохновение с вселенским преданием и свою свободу - истинную свободу чад Божиих - с сыновним благоговением к священному авторитету и со справедливым уважением к законным властям и правам, становится истинным орудием Святого Духа, глаголевшего устами пророка и одушевляющего вселенское тело Христа, побуждая его стремиться к безусловному совершенству. Чем совершеннее единение этих трех одновременных представителей прошлого, настоящего и будущего человечества, тем решительнее победа Вселенской Церкви над роковым законом времени и смерти, тем теснее связь, наше земное существование с вечной жизнью божественной Троицы.

Как в троице каждая из трех ипостасей есть совершенный Бог и тем не менее, *в силу их единосущности*, существует только один Бог, ибо ни одно из этих трех лиц не имеет отдельного бытия и никогда не находится вне субстанционального и неразделимого единства с двумя другими, точно так же каждый из трех главных чинов теократического

общества владеет действительной верховной властью, причем, однако, это не предполагает трех различных абсолютных властей во Вселенской Церкви или в какой-либо ее части, ибо три представителя богочеловеческой верховной власти должны быть безусловно солидарны между собой, являясь лишь тремя главными органами единого общественного тела, выполняющими три общественные функции единой коллективной жизни.

В божественной Троице третье лицо предполагает два первых в их единстве. Так оно должно быть и в социальной троице человечества. Свободная и совершенная организация общества, представляющая призвание истинных пророков, предполагает союз и солидарность между властью духовной и властью светской, Церковью и государством, христианством и национальностью. Между тем этого союза и этой солидарности нет больше. Они разрушены восстанием Сына против Отца, ложным абсолютизмом национального государства, пожелавшего стать всем, оставаясь одним, и поглотившего авторитет церкви, удушившего социальную свободу. Ложная царская власть породила ложных пророков, и антисоциальный абсолютизм государства естественно вызвал антисоциальный индивидуализм прогрессивной цивилизации. Великое социальное единство, нарушенное нациями и государствами, не может сохраниться надолго для индивидов. Раз человеческое общество не существует более для каждого человека как некоторое органическое целое, солидарной частью которого он себя чувствует, общественные связи становятся для индивида внешними и произвольными границами, против которых он возмущается и которые он в конце концов отбрасывает. И вот он достиг свободы, но той свободы, которую смерть дает органическим элементам разлагающегося тела. Этот мрачный образ, которым славянофилы так злоупотребляли в своей борьбе с Западом и которому радовалась их национальная гордость, должен был бы внушать нам совершенно обратные чувства. Не на Западе, а в Византии первородный грех националистического партикуляризма и абсолютического цезарепапизма впервые внес смерть в социальное тело Христа. А ответственная преемница Византии есть русская империя. И теперь Россия есть единственная христианская страна, где национальное государство без оговорок утверждает свой исключительный абсолютизм, делая из церкви атрибут национальности и послушное орудие мирской власти, где это устранение божественного авторитета не уравнивается даже (насколько это возможно) свободой человеческого духа.

Второй член социальной троицы - государство, или светская власть, - в силу своего посредствующего положения между двумя другими является главнейшим орудием поддержания или разрушения целостности вселенского тела. Признавая начало единства и солидарности, представляемое Церковью, и сводя во имя этой солидарности к справедливой мере все то неравенство, которое проистекает из свободной деятельности частных сил, государство является могучим орудием истинной социальной организации. Напротив того, замыкаясь в отъединенном и эгоистическом абсолютизме, государство теряет свою истинную нерушимую основу и непогрешимую санкцию своей социальной деятельности и оставляет вселенское общество без защиты против «тайны нечестия».

В силу исторических условий, в которые она поставлена, Россия являет наиболее полное развитие, наиболее чистое и наиболее могущественное выражение абсолютного национального государства, отвергающего единство Церкви и исключаяющего религиозную свободу. Если бы мы были языческим народом, мы, конечно, могли бы окончательно кристаллизироваться в сказанном состоянии. Но народ русский - народ в глубине души своей христианский, и непомерное развитие, которое получил в нем антихристианский принцип абсолютного государства, есть лишь обратная сторона принципа истинного, начала христианского государства, царской власти Христа. Это есть второе начало социальной троицы, и, дабы проявить его в правде и истине, Россия должна прежде всего поставить это начало на то место, которое ему принадлежит, признать и утвердить его не как единственный принцип нашего обособленного национального существования, но как второй из трех главных деятелей вселенской социальной жизни, в неразрывной связи с которой мы должны пребывать. Христианская Россия, подражая самому Христу, должна подчинить власть государства (царственную власть Сына) авторитету Вселенской Церкви (священству Отца) и отвести подобающее место общественной свободе (действию Духа). Русская империя, отъединенная в своем абсолютизме, есть лишь угроза борьбы и бесконечных войн. Русская империя, пожелавшая служить Вселенской Церкви и делу общественной организации, взять их под свой покров, внесет в семейство народов мир и благословение.

«Не добро быть человеку одному». То же можно сказать и о всякой нации. Девятьсот лет тому назад мы были крещены Святым Владимиром во имя животворящей Троицы, а не во имя бесплодного един-

ства. Русская идея не может заключаться в отречении от нашего крещения. Русская идея, исторический долг России требуют от нас признания нашей неразрывной связи с вселенским семейством Христа и обращения всех наших национальных дарований, всей мощи нашей империи на окончательное осуществление социальной троицы, где каждое из трех главных органических единств, церковь, государство и общество, безусловно свободно и державно, не в отъединении от двух других, поглощая или истребляя их, но в утверждении безусловной внутренней связи с ними. Восстановить на земле этот верный образ божественной Троицы - вот в чем русская идея. И в том, что эта идея не имеет в себе ничего исключительного и партикуляристического, что она представляет лишь новый аспект самой христианской идеи, что для осуществления этого национального призвания нам нужно действовать против других наций, но с ними и для них, - в этом лежит великое доказательство, что эта идея истинная. Ибо истина есть лишь форма Добра, а Добру неведома зависть.

Париж, 23 мая 1888 г.

В.В. РОЗАНОВ

ИУДЕИ И ИЕЗУИТЫ

В истории неоднократно случалось, что мелкий и личный факт, факт, наконец, местный - получал с необычайною быстротою величайшую силу, повсеместное распространение, и выливался в огромные результаты. Так от мелкой искры взрываются пороховые погреба, «от копеечной свечки Москва сгорела»; а чтобы перейти от поговорок к определенным историческим фактам, укажу, что нежелание администрации Иезуитского ордена добросовестно уплатить по счетам одной торговой французской фирме было причиною, что «статуты ордена» были потребованы французским министром к рассмотрению на суд; в них были прочитаны параграфы антиморальные и антиобщественные, и «разоблаченный орден» был изгнан из Франции и скоро был изгнан и из всех просвещенных стран Европы. Другой пример - знаменитые «индугенции» Тецеля, «отпускавшего за деньги грехи человеческие» с таким

особенным бесстыдством, как еще не случалось никогда дотоле, что вызвало возмущения Лютера, поднявшегося на самый Рим и на самое папство, и поведшее к отложению Германии и затем всей германизированной Европы от католичества. Здесь, собственно, маленькое и местное событие было поводом, а родившиеся из него громадные последствия оттого и были громадны; что этот маленький факт, можно сказать, имел миниатюрные с себя снимки повсюду; имел мириады подобных же мелких фактов, рассеянных по всей стране или даже по всем странам Европы. Иезуиты вообще уже «нечестно рассчитывались», - и не в одной торговле, и не в одной Франции; они фальсифицировали мораль, они фальсифицировали христианство и исказили основное учение Иисуса Христа. «Индюльгенции» продавал не один Тецель, - а папство вообще обходилось нехорошо и с деньгами, и с совестью, и с народами по ту сторону Альп. Все увидели, что в «католичестве» имсют не столько христианство, сколько «римскую веру» и известный первосвященнический эгоизм, политический и финансовый. У Европы раскрылись глаза. И вот это раскрытие глаз, которые увидели всюду в Европе распolzшееся зло, - зло застарелое и уже давно мучившее всех, - и породило великие результаты.

Этим великим результатом было освобождение Европы от безграничного папского авторитета, в одном случае, и от тонкой иезуитской паутины, в другом случае. Не забудем, что и папы были покровителями искусств, покровителями поэтов, художников и ученых; у них работали Рафаэль и Микеланджело. А иезуиты покрыли Европу сетью училищ, которые были не только самыми многочисленными, но и по опытности и искусству преподавателей были первыми в Европе.

Так что великие культурные заслуги у них были; у них было очень много «вообще»... Но кроме «вообще» нужно иметь и «в частности»: кроме покровительства Рафаэля - нужно честно рассчитываться за забранный товар.

Поднимается третье освобождение Европы, может быть, самое мучительное и самое трудное, но совершенно необходимое — от евреев; от семитизации европейского духа, европейских литератур, всего европейского склада жизни, всей так называемой «европейской культуры». И «дело Бейлиса», которое самым именем закрыло кровавое «дело младенца Ющинского», есть лишь толчок, из которого, как ураган, раз-

вивается колоссальное движение - освобождение от семитизма. Роль евреев в культуре очень близка к роли иезуитов в христианстве, а сами евреи и в личности своей и в статутах своей жизни весьма подобны иезуитам с их тайною и всемогущею организацией. Так же они вкрадчивы и лживы, так же всюду проникают или пролезают; так же все себе захватывают, как захватывали иезуиты; так же у них гибка мораль и так же все в этой морали отпускают «своим» их тайные статуты, и беспощадны к чужим, как это было у иезуитов. Вообще, родство и близость с иезуитами евреев - поразительна. Мы находим параллелизм во всех линиях духа и устройства. И - в самом зерне. Зерном этим служит беспощадный, абсолютный эгоизм черного «я», не считающийся решительно ни с кем и ни с чем, кроме себя, и обращающий всякое другое лицо и всякое другое учреждение и наконец целые народы чужие в жертву себе, в «жратву» для себя.

Евреи действительно поторопились, вспылили, запутались и упали. Они слишком понадеялись на циничное средство, - скупку всей печати в Европе, скупку и обольщение и всей почти печати русской. Рассчитывая на это, они встали во весь рост и неосторожно распахнулись — и все в России увидели, а очень скоро и во всей Европе рассмотрят, черное тело и черную душу еврейства. Суть - в беспощадном эгоизме, в принесении всего решительно в жертву своему единственному, родовому, национальному «я». Требуя от нас, от немцев, от французов космополитизма и общечеловечества, они даже не едят одной пищи с нами, и это - не личное у них, а национальное: «национализм» и национальные статуты евреев, введя знаменитое отныне «кошерное мясо», строжайше запрещают всем «своим» даже есть из одной миски суп с христианами, брать мясо с одной сковородки с христианами, с этими «просвещенными» французами, с этими «республиканцами» французами, и с «русскими братьями». Явно, что ни «просвещение» европейское, ни «родное русское братство» - им не нужны, и они в нем лавируют и скользят, но к нему не прилепляются. Говорим про массу, про ядро еврейское, не считая «промежуточных» и «переходных» форм. Да и в последних живет и не может не жить черный отблеск слишком древнего духа. На самом донышке у самого образованного еврея лежит затаенное чувство: «Россия все-таки пройдет, а евреи останутся». Примеры Египта, Греции, Рима не могут не подействовать.

Перед нами, русскими, да и перед всею Европою, раскрылись прямо национальные ужасы юдаизма, например, в этом знаменитом

учении о «гоях». Мальчику и девочке уже 7, 8, 9, 10-ти лет родители внушают, раввин внушает, именем религии своей внушает, что русские и французы - все вообще «нечисты» до такой степени, что есть с ними из одной тарелки то же, что есть из одной плошки с собакой или кошкой; что европейцы - это даже не люди, а животные. Это - точные, запечатленные во всех рукописях и в бесчисленных печатных экземплярах Талмуда положения, параграфы, законы, принципы, моральные воззрения. От этого внушаемого им «религиею» воззрения не отречется ни один еврей; ни один не скажет: - «этого нет!» Никогда подобного чудовищного учения не знала ни одна религия в мире и ни одна нация в мире. О всем этом европейцы и раньше приблизительно знали, но знали как-то издали, неопределенно; евреи не рассказывали, а европейцы не любопытствовали. Вдруг это все разом раскрылось в процессе Бейлиса, а сотни газет в тысячах листов сообщили об этом всем миллионам русских. И что бы ни твердила закупленная, задобренная и обольщенная печать, русская и заграничная, у читателей есть и свой разум, и все понимают, что нации с такими чудовищными принципами совершенно не место среди европейцев, что насколько мы любим «историю» и «культуру», настолько не место среди нас этой типично антикультурной и типично антиисторической нации. Ибо в зерне истории и культуры лежит уважение человека к человеку и любовь человека к человеку. Здесь самые уставы жизни таковы: «не ешь с европейцем» - это говорит глубоко и осознательно всякому, это говорит ему ежедневно, это говорит ему повсеместно. «Европеец - поганец для тебя», и ты должен относиться к нему, как «к поганому существу», т.е., естественно, ты должен его презирать и ненавидеть. И это говорится еще детям 7 - 8 лет, говорится в каждой еврейской хижине. С каждым «кошерным куском» еврей проглатывает как бы «заговор» и «зарок» против русского; чтобы сказать все понятным языком - он проглатывает «погромную против русских прокламацию», но которая не просто прочитывается и бросается, а переваривается у него в желудке и с кровью входит в плоть и кости еврея, в кровь еврея, в мозг еврея. Тихая и вкрадчивая, именно ядовитая ненависть к русскому, к немцу, к французу, к англичанину, ко всем - вот что такое статут и догма и религия о «гоях», - о чем все знали только глухо и отдаленно, обще и смутно. Теперь все это ясно прочитали. Они и изгаживают все, к чему касаются, - всякий дом, куда входят, всякую семью, куда вкрадываются, всякую школу, куда их впускают: и прежде всего и яснее всего изгадили нашу когда-то здоровую, прекрас-

ную, «натуральную» литературу своими смердящими «богоискательствами», «богоборчествами», «богостроительствами», декадентствами, символизмами и всяким словесным маргарином и всяким мысленным онанизмом. «Гои» суть «гады» и «гадость» у них все»: это такая связь догматов, которую разорвать невозможно. Но у нас-то многие догматы не исполняются, а у них с «не садись за один стол с европейцем» все привилось с детства и все с детства вошло в кровь и перешло у взрослого в привычку, в манеру, в единственный способ уметь жить и действовать среди европейцев. Они не умеют не портить того, что вырожденно считают «нечистым» и «гадким»...

Какими же невинными и чистыми представлятся нам принципы иезуитизма сравнительно с принципами иудейства!

1913 г. «Новое время»

ЕВРЕИ И «ТРЕФНЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦАРСТВА»

Скрывая или оставляя в тени тот факт, что сами евреи воистину поклоняются Молоху своего национализма, что кроме национализма они и не имеют никаких других питательных духовных корней, и даже сам «Бог», Существо всемирное и всечеловеческое, - для них есть исключительно «еврейский бог», нимало не пекущийся о других народах и даже к другим всем народам враждебный, - евреи в то же время унижают, высмеивают и всячески выедают народное чувство, сознание своей истории и государственную гордость у французов, у немцев, у русских. В особенности, как деятели литературы, как мелкие журнальные и газетные сотрудники, не выдающиеся талантом, но подавляющие числом, и также как члены французского общества, немецкого общества, русского общества, - они выступают постоянно со своим смехом над «национальными предрассудками», умалчивая о «кошерном мясе» своей нации, мешающем всякому еврею сесть за один стол с немцем, с французом или с русским. Кроме редчайших исключений, еврей никогда не

женится на русской и еврейка никогда не выходит замуж за русского. Вообще, применяя язык католического брачного права, «отделение от стола и отделение от ложа» со всеми в мире народами - составляет самую сущность юдаизма с древнейших времен и поныне. Даже прошедшие гимназию и университет евреи и еврейки весьма твердо и весьма косо выдерживают эту линию, подчиняясь неодолимому давлению сорока веков своей истории. Что же касается простого народа, то здесь смешанных браков совершенно не происходит, здесь происходит только их иудейский «кошерный брак» и недопустим «трефный брак» ни с каким чужеродцем. Да это и понятно, в силу учения их раввинов и в силу догмы Талмуда о нечистоте всех людей-неевреев. Брак, происшедший по всем формам с христианином или с христианкою, - раввинами считается «ничем»; он считается не браком с человеком, а сожителем со скотом, и измена ему для еврея-мужа или для еврейки-жены считается не пороком, не супружеской изменою, а добродетелью и святым делом. Ибо, бросая христианина-мужа или христианку-жену, еврей и еврейка возвращаются только к состоянию их юдаической «чистоты» и исключительной «богоизбранности». Можно ли представить себе что-нибудь более чудовищное в смысле антисоциальности! Можно ли говорить о каком-нибудь «мирном сожительстве» с подобным народом? Та «гармония», к которой стремится всемирная история, с евреями всегда есть какофония. Никакой «музыки» не выходит, и никогда ее выйти не может. Не может же ее выйти потому, что всем духом своим, так полно сливающимся со статутами жизни, евреи коренным образом отрицают или коренным образом не понимают «всемирности» или всечеловечности. Всякий еврей, переходящий на почву всемирных симпатий, хотя бы только идейно и философски, подвергается синагогальному «херему», т.е. душа его считается погибшею, а тело и жизнь объявляются подлежащими уничтожению, убийству. И такое лицо или убивается, или делаются попытки со стороны «общины Израиля» его убить. Такова была знаменитая история с голландским философом Спинозой, который после наложенного на него «херема» подвергся нескольким покушениям на свою жизнь со стороны темных фанатиков. Нам они кажутся «фанатиками», но у себя-то они действовали «по закону». Об этом можно читать во всех его биографиях и во всех пространных курсах философии.

Можно ли представить себе древнего грека, которого за философский интерес к персидской религии Зороастра соотечественники пыта-

лись бы умертвить; можно ли представить себе немца, которого лютеранская консистория отлучала бы от церкви и «обрекла смерти» за любопытство и за интерес к русским летописям. Представим себе всех пасторов Берлина, Штеттина, Гамбурга и Петербурга, единогласно вопиющих и проклинающих немца Шлецера единственно за то, что он издал своего «Нестора», или Даля за то, что он собирал и записывал русские пословицы и русские говоры?! Едва мы привели эти примеры и аналогии, как всякий почувствует, до чего евреи есть невозможный для сожительства народ, до чего они народ 40 веков антикультурный и антиисторический. Здесь-то и лежит причина, почему их, в конце концов, отовсюду изгоняли, из всех стран и от всех народов, - от чего возник и факт и легенда о *juif errant*; они не сливаемы ни с одним народом и племенем, как не соединяются вода и масло; везде они сидят только «в себе», в силу непоколебимых сорока вековых правил своей религии, и в то же время, быта своего - отделенные от всех людей в «столе» и «ложе», в знаменитом своем учении о «кошере» и «трефа». «Съесть русской пищи» значит «опоганиться»; жениться на русской значит все равно, что жениться на собаке, на корове. Это совершенно точное учение их закона, их Талмуда, и это совершенно строго соблюдается в их быту. В том и особенность и ужас юдаизма, что у них религия есть в то же время учение о быте; что «религия» и «поклонение Богу» у них есть необозримый «Домострой».

Но, входя в наши дома и в наши семьи как знакомые и как друзья, они всегда несут на себе лстивое и лукавое «общечеловеческое лицо», со смехом над «национальными предрассудками», а в сущности только - нашими. Что мы, русские и христиане, все для них «трефа», поганое, нечистое и ненужное Богу, ни людям, они об этом не распространяются, они нас только учат и внушают своим непреодолимым гипнозом, что является чем-то «трефным» и негодным наше правительство, что это есть поганое «трефа» в Польше - ее старое шляхетство и темные ксендзы, что такое же «трефа» - немецкая филистерская семья и немецкие семейные добродетели или немецкая верноподданническая любовь. Таким саркастическим смехом над всем европейским и над всем христианским прокатились стихи и проза Гейне, этого остроумного и вместе интимного пересмешника, отрицателя и циника. Смех Вольтера был глубоко здоровым смехом сравнительно со смехом Гейне, значительно отравившего европейский дух. Но этот смех и сарказм Гейне, без всякого утверждения, без всего положительного, - он в мелких и грязных

формах сочтется из всякой еврейской строки, из всякой еврейской газеты, от всякой еврейской книгоиздательской фирмы. Возвращаясь к тому, что это такое, этот непрерывный смех над всем европейским и христианским, мы найдем полное его объяснение в том, что это есть литературное преображение знаменитого их учения о «трефа». Секрет и разгадка в том, что все «европейское и христианское» есть что-то обреченное Богом, их «Израилевым богом», на вымирание, гибель, вырождение и гниль. Гноить и гноить русских, гноить и гноить Францию, выедавать все «старонемецкое» у германцев - это почти физиологический закон у евреев, перешедший на степень бессознательной привычки. Кроме «ихнего еврейского», этого всемирного «кошера», все остальное - «заклятое» и «трефа», «не годно к употреблению». Вот объяснение «дурного правительства», в сущности, «трефного правительства», одинаково в монархической России и в республиканской Франции. И «республика гоев»; напротив, и монархия будет «кошер», если королем или президентом объявится где-нибудь Соломон Соломонович. Нет ни одного еврейского порицания еврею Дизразли-Биконсфильду, потому что он «кошер» и «наш»; а на Бисмарка, который никак не меньше Биконсвильда, были высыпаны все еврейские яды бесчисленных газет и парламентских ораторов. Весь вопрос в том, чтобы были «мы» и «наши», - о прочем ни о чем нет речи; нет речи о добродетели, о разуме и всего меньше речи о христианской или европейской пользе. Но этот неудержимый и неодолимый напор еврейского наглого хохота над всем старым в Европе, над всеми европейскими святынями, над всеми европейскими молитвами и вздохами, над нашей старой поэзией и крестом, - это есть выползшее в литературу их учение о «трефном» и «кошерном», «поганом» и «чистом», которым сорок веков были пропитаны все хижины еврейские, с вечной заповедью: «не ешь с персом», «не ешь с греком», «не ешь с римлянином», «не ешь с испанцем», «с французом», «с немцем», «с русским». Ни с кем «не ешь» и «не вступай в брак», - ибо они не чисты и гои. Сорока веков нельзя отмыть ни от кого; сорок веков сильнее всякой индивидуальности.

Что же это такое? И что такое сравнительно с этим бледное и бесильное учение иезуитов и статуты иезуитского ордена? Это - цветочки, в иудеях мы имеем «ягодки». Всякий еврей и, с позволения сказать, «Грузенберг», всякий «Гинзбург» и «Ротшильд» есть «папа» в самочувствии, в самосознании, в «избранности» Богом. И эти мириады «пап»,

насевших на Европу, давят на нее, как чугунная тумба на человеческую грудь.

И тяжело дышится Европе. Сдавливают ее могучие кольца Изра-
иля. Он уже все облепил - векселем, книжкой, газетой. Давит, кого мо-
жет и обольщает, кого еще не может. Он, в особенности, обольщает де-
тей наших, в школе, в университете. Наше несчастное бесхарактерное
юношество уже все облитое сладким ядом еврейского гипноза, льстиво-
го, интимного и насмешливого в отношении «иных». Несчастный «гой»
или «гойка» 17 - 20 лет не понимают, что они лично суть «гои» и «сквер-
на» для говорящего с ними еврея и еврейки; они полагают, доверчиво,
что евреи только «критикуют» из «общечеловеческого чувства» их треф-
ное правительство, их трефную политику и всю их трефную историю.

Что евреям наши крестовые походы? Что еврейской душе гово-
рит наше страдание под монгольским игом? Смех, а не горе. Что им
говорит чистое имя Пушкина, народное имя Кольцова? И они все это
загаживают, ибо всякий европейский свет есть тьма для них, как они со
своим «не съдаемым ни за что» бедром говядины представляют для
нас чудовищный курьез и сплошную, даже непонятную, темь.

И не будет света в Европе, пока не скроется за горизонт этот ужас-
ный мрак. Теперешнее «к свету!» Европы имеет единственный пере-
вод: «освободимся от племени с чудовищными уставами жизни». Не
надо его, не надо!! - ни как соседа, ни как сожителя! «Не надо брака» -
это они первые сказали и твердят себе сорок веков. Это их устав, это их
слово. Да будет оно исполнено.

«Новое время», 1913 г.

ЕВРОПА И ЕВРЕИ

Слава Богу, Россия теперь - не рабыня, лежащая безмолвно и бес-
правно у подножия все забравшего себе чиновника, довольно безыдей-
ного и с притупленными желаниями, с отяжелевшей волей. Россия те-

перь «сама», и эта «сама Россия» справится с евреем и с еврейством, которые слишком торопливо решили, что если они накинули петлю на шею ее газет и журналов, то задушили и всячески голос России, страдания России, боль России, унижение России.

...что уже никто и не услышит этого голоса, ее жалобы, ее страдания, ее боли, не поймет ее унижение. Но русский народ имеет ум помимо газет и журналов. Он сумеет осмотреться в окружающей его действительности без печатной указки. Сумеет оценить «печатную демократию», распластаны лежащую перед «гонимыми банкирами», «утесненными держателями ссудных лавок», «обездоленных» скупщиков русского добра и заправил русского труда. Минский, стихотворец и адвокат, говорил мне в 1905 году, в пору октябрьской забастовки: «Конечно, евреи способнее русских и желают сидеть в передних рядах кресел» (он представлял жизнь как бы театром, с актерами и зрителями, и соответственно этому выразил свою мысль). В двух учебных (частных) заведениях Петербурга, где учеников и учениц половина на половину евреев и русских, - евреи уже делали попытку бить русских товарищей, но (по крайней мере, в одном заведении) получили хорошую «сдачу». Раздраженно один малыш воскликнул моему 14-летнему сыну:

- За евреев заступится Австрия, Россия будет разбита и тогда мы получим все, что нам нужно.

Эти выкрики 14-летних еврейских мальчиков выдают тайну семей еврейских, гостинных еврейских, кабинетов еврейских. Они показывают, как «наш там любят»... Уже мечтают, сколько они возьмут за шкуру убитого медведя на международном рынке мехов...

Но, господа! - медведь-то еще не застрелен, а гуляет в лесу. Он долго дремал в берлоге, сосал лапу. Но ваше злодеяние над кротким, тихим, никого не обидевшим мальчиком Андрюшею Ющинским разбудило его...

P.S. В сентябре 1899-го года, сейчас по окончании дела Дрейфуса, мне пришлось сказать несколько слов в статье «Европа и евреи», предостережительных в нашу сторону, в сторону христиан и европейцев. Уже тогда я предлагал «перестроиться», дабы не понести около евреев судьбы «персов перед македонянами». Эту статью, всякое слово которой можно повторить и сейчас, поставив лишь вместо «Франция»

имя «Россия», я перепечатаваю здесь.

Спб, 27 января
1914 г.

Процесс Дрейфуса окончился. Но хорошо ли Европа разобрала вкус этого горького, терпкого, вонючего плода, который три года жевала и едва имела силы с ним справиться? «Еще две таких победы, - сказал Пирр-победитель о римлянах, - и я погиб». Так много он потерял в битве. Так много потеряла Франция, да и такую роковою угрозою для целой Европы стоит странное дело о капитане-изменнике. О «капитане» и об «изменнике» - как будто мало тех и других на свете, и дела их ведает суд, и они падают в Лету, не возбуждая ничего внимания и ничего любопытства. Но на этот раз, во всяком случае, человек не безупречной репутации и отталкивающей карьеры был... еврей. И вот Лета не смогла поглотить его, - рамки суда раздвинулись, стены «Palais de Justice» пали, «дело» выросло в вопрос почти о судьбе Франции; и последняя, вздрогнув, имеет причины подумать: «еще две-три таких победы - и я погибла». «Кто был бесчестен, один Дрейфус или вся Франция?» - чудовищный вопрос, какого, казалось, никогда не ставилось между человеком - повторяем, по крайней мере, сомнительной репутации - и между первоклассною страной с тысячелетнею историею. - «Были ли и особенно есть ли в настоящее время Дрейфус-изменник Франции?» - вот о чем нужно спросить, потому что было «дело Дрейфуса». И если бы там, в разных «dossier» в «bordereau», было все чисто, то неужели Дрейфус и евреи будут еще расписываться в «любви к Франции» как к «своему отечеству», когда они сделали нечеловеческие усилия не к тому, чтобы передать там Германии какие-то «мобилизационные планы», а чтобы «сорвать самую Францию», как игрок срывает банк. Не удалось; оборвалось. Но усилие было так гигантно, что Франция затрещала по швам. Они, *ces juifs*, «любят Францию»... Берегись, Франция, - да берегись и Европа. Это «первое предостережение»...

«Измена», - все говорят «об измене», все препираются о ней... «Ее не было», она «не доказана», «нет улик». Да какой вам улики надобно, кроме этой же «affaire», и что такое измена, как не «злоумышление против отечества», «желание предать его», «желание погубить его»?! Ну, «не было измены Дрейфуса», есть «измена еврейства»; и не было «шпионской проделки», так было и есть, остается в сложнейшем и обобщен-

нейшем смысле, в смысле самом грандиозном, - «государственное преступление», не только доказанное и всеми видимое, но и совершенно признаваемое самими евреями, так нежно любившими свое отечество три года! Да и до чего опасная измена, на какой мучительной подкладке! Так или иначе совершилось темное дело, но, ни от кого не скрывая и при полном свете дня, Франция как страна, как организация, как управление - шельмовалась без пощады. Вот уже истинные «бичи Иероваома», просвистевшие над спиной прекраснейшей и благороднейшей из европейских стран. Не знаем, виновен ли Дрейфус; но видим Францию уличенную, опозоренную каким-то лакейским способом наказания. Так бьют Расплюевых; так били Францию - светоч, долгое время светоч нашей цивилизации. Вы помните мучительнейшую минуту, в финале комедии, где жених и герой уличается в мошенничестве: эта минута растянута была на три года (ведь это пытка), и под пятою мошеннического заподозрения билось целое правительство. Дело так и кануло в Лету темным; светло же, как день, одно - что Франция была три года в положении желającego вывернуться и не могущего вывернуться из беды Кречинского. Никогда так человека не мучил, не пытал человек. Они, евреи... «сыны Франции»!

Сыны, так любящие «свое отечество», «свою Францию»...

И ее буковые леса, ее Рону, ее литературу от Абельяра до А. Мюссе, ее науку от бенедиктинцев до Пастера. Ведь это все - одна Франция, господа, одна вместе с теперешним правительством, пусть и плоховатым, о чем француз заплачет, а не посмеется...

Посмеяться может только чужеродец, который, заушая «правительство», думает, что он нисколько не бьет Францию.

* * *

Тут вопрос не о том, кто светел, а о том, кто силен. Конечно, Франция светлее еврейства. Ведь «дело Дрейфуса» было попыткой сорвать «нравственный банк» Франции; отсюда вся его вязкость, упорство, и отсюда же всемирное к нему внимание. Очень интересен «сам» Дрейфус или «генерал Буадефр»!.. Царями столько не занимаются; и семье императрицы австрийской, тоже невинно погибшей, не было дано и со-той доли внимания, какое дано было «невинно заподозренному Дрейфусу». Европа следила, кто у кого сорвет банк, и притом такого странного характера, что там заложена была самая душа и жизнь игроков:

прекраснейшей страны, древнейшего и очень странного народа! И игра была удивительно выбрана в момент: ну, проиграй еврей - и ничего не теряет еврейство; «да, мы ошиблись, один из нас - мошенник и изменник, но у Франции останется 100 000 честных израильтян, совершенно искренне любящих отечество». Это в случае проигрыша; а на случай выигрыша? А в случае выигрыша «срывался моральный банк» вовсе не Гонза, Буадорфа и проч. и проч., а именно *Франции* в самое ее сердце, в самом ее центре. А оттуда бежит кровь по всем членам, и ядовитый укол в «штаб» парализовал бы, конечно, самое тело страны и «любимого отечества». Оставим вопрос о «светлом духе» еврейства и обратимся к их силе.

Сила эта - в цепкости и солидарности. Нам передавали в эту зиму, что когда одна из одесских газет пробовала временно стать «против Дрейфуса», то поутру множество евреев выбежали из дому на улицу, и, манифестируя свое негодование, рвали в клочки только что полученные номера этой газеты. Париж - Одесса, это не рукой подать. Затем «дело Дрейфуса» несколько раз гложло. Да и что за «дело», решительно - грязное дело, грязная его тема, и далеко не херувим человек. Вспомним у нас Новикова и Радищева такие ли люди? - и тоже «сидели» без «вины». Так мы говорим, что «дело Дрейфуса» гложло. Но в то время, когда столько невинных глухо погибло, и вся история Тауэра и Бастилии есть история глухой гибели человека, «свои» не дали погибнуть ангелоподобному капитану. Мы исследуем *силу* еврейства и указываем на его *цепкость*. Евреев немного - 7 миллионов человек. Персов было гораздо больше, чем македонян; но македоняне шли «фалангой», т.е. «свиньей» (форма военного построения) и разрезая кучи, тьмы тем персов, - их побеждали. Секрет еврейства состоит в том, что они по *связности* подобны конденсатору, заряженному электричеством. Троньте тонкую иглою его - и вся сила, все количество электричества, собранное в хранителе-конденсаторе, разряжется под точкою булавочного укола. В Париже 3 миллиона французов, но ведь евреев *там сколько на земном шаре* - 7 милл.; В Вильне русских около 40 тысяч человек, а евреев в Вильне *те же семь миллионов*. И, конечно, евреи побеждают в Париже столь же легко, как и Вильне.

«Первое предостережение», полученное в деле Дрейфуса Европою, показывает, что если Европа не *перестроится в своих рядах*, если она будет идти так же вразброд - «по-персидски», «тьма тьмами», то она, несомненно, будет разрознена иудейскою «свиньей» и потеряет

все, как персы перед македонянами. Дело - в социальном построении: у нас «каждый за себя», «Бог за всех»; у евреев «все за каждого», - и потому-то, может быть, у них «Бог» в точности «за всех». Мы - разобщены; они не только соединены, но *слитны*. У нас соединение - фразерство, у них - факт. Скажите, пожалуйста: поддерживала генеральный французский штаб французская печать так же, как одесситы-евреи Дрейфуса, т.е. так же априорно, столь же «в темную», до «окончательного выяснения»? Именно вот готовности «заранее», «а priori» отстоять «своего», - этой прекрасной «стенки» национального сознания - и не было во Франции, да и нет этой «стенки» нигде в Европе. - «Говорят, в штабе *мошенники*»... «Как *интересно*»... Жажда сплетни, жажда злобы, эти чувства «дамы просто прекрасной» и «дамы прекрасной во всех отношениях», - которые съедали друг друга и съедали всех своих знакомых из-за каких-то ситцев, тряпок, - эти вонистину презренные чувства, конечно, взломались как вешний лед перед юдаической «свиньей», которая от Вильны до Парижа поперла в одну точку.

Поперла и... почти сломила. Берегись, Европа, твой лед хрупок, укрепи лед!

«Новое время», сентябрь 1899 г.

ПОЧЕМУ НА САМОМ ДЕЛЕ ЕВРЕЯМ НЕЛЬЗЯ УСТРАИВАТЬ ПОГРОМОВ?

В революции нашей в высшей степени «не ясен» еврей. Как он во всем не ясен, и запутался во всей европейской цивилизации. Но до Европы — оставим. Нам важны «мы». Посмотрите, как они трясутся над революцией. Не умно, злобовредно — трясутся. А ведь это и их «гешефтам» не обещает ничего. Даже обещает плохо. Почему же они трясутся? Я раз посмотрел в иллюстрированном журнале — Нахамкиса; и, против неприятного Ленина, сказал: «Как он серьезен» (хотел бы видеть в натуре).

Да, речь его против Михаила Александровича — нагла. Но ведь евреи навсегда наглы. В Европе, собственно, они не умеют говорить европейским языком, т.е. лстивым, вкрадчивым и лукавым, во всяком случае — вежливым, а орут, как в Азии, ибо и суть азиаты, грубияны и дерзки. Это — гогочущие пророки, как я определил как-то. Они обо всякой курице, т.е. в торге, пророчествуют. «Ефа за ефу», — «отчего

ефу не выверяешь», «отчего весы не верны» (Исаия, или который-то, раз попалось). Но... он действительно, действительно «припадал к ногам» — хотя быть «Стекловым». Но это — не обман. Только отодвинутый «кончиком носка сапога», он разъярился как «Нахамкис» и на Михаила Александровича, и — дальше... и возненавидел всю эту старую, «черствую Русь».

Евреи... Их связь с революцией я ненавижу, но эта связь, с другой стороны, — и хороша; ибо из-за связи и даже из-за поглощения евреями почти всей революции — она и слиняет, окончится погромами и вообще окончится ничем: слишком явно, что «не служить же русскому солдату и мужику евреям»... Я хочу указать ту простую вещь, что если магнаты еврейства, может быть, и думают «в целом руководить потом Россией», то есть бедные жидки, которые и соотечественникам не уступят русского мужика (идеализированного), ремесленника, вообще (тоже идеализированного) сироту. Евреи сентиментальны, глуповаты и преувеличивают. Русский «мужичок-простачок» злобнее, грубее... Главное — гораздо грубее. «С евреями у нас дело вовсе не разобрано». Еврей есть первый по культуре человек по всей Европе, которая груба, плоска и в «человечестве» далее социализма не понимает. Еврей же знал вздохи Иова, песенки Руфи, песнь Деворры и сестры Моисея:

— О, фараон, ты ввергнулся в море. И кони твои потонули. И вот ты — ничто.

Еврей — самый утонченный народ в Европе. Только по глупости и наивности они пристали к плоскому дну революции, когда их место — совсем на другом месте, у подножия держав (так ведь и поступают и чтут *старые настоящие евреи, в благородном: «мы — рабы Твои»*, у всего настоящего великого. «Величит душа моя Господа» — это всегда у евреев, и всегда — в отношении к великому и благородному истории). О, я верю, и Нахамкис приложился сюда. Но — сорвалось. Сорвалось не «величие», и он ушел, мстительно, как еврей, — ушел «в богему». «Революция так революция». «Вали все». Это жид и жидок и его нетерпеливость.

Я выбираю жидка. Сколько насмешек. А он все цимбалит. Насмешек, анекдотов, а он смотрит русскому в глаза и поет ему песни (на жаргоне) Заднепровья, Хохломании, Подолии, Волыни, Кавказа, и, может быть, еще Сирии, и Палестины, и Вавилона, и Китая (я слышал, есть китайцы-евреи, и отпускают себе косы!!!). Еврей везде, и он «странствующий жид». Но не думайте, не для «гешефта»; но (наша Летопись)

— «Бог отнял у нас землю за грехи наши, и с тех пор мы странствуем».

И везде они несут благородную и святую идею «греха» (я плачу), без которой нет религии, а человечество было бы разбито (праведным небом), если бы «от жидов» не научилось трепетать и молиться о себе за грех. Они. Они. Они. Они утерли сопли пресловутому европейскому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: «На, болван, помолись». Дали псалмы. И Чудная Дева — из евреек. Что бы мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи. Но они пронесли печальные песни через нас, смотрели (всегда грустными глазами) на нас. И раз я на пароходе слышал (и плакал): «Купи на 15 коп. уксусной кислоты, я выпью и умру. Потому что он изменил мне». Пела жидовка лет 14-ти, и 12-летний брат ее играл на скрипке. И жидовка была серьезна. О, серьезна... Я (в душе) плакал. И думал: «Как честно; они вырабатывают пятаками за проезд, когда у нас бедные едут фуксами, т. о. как-нибудь на казенный счет, или под лавкою, и вообще — на даровщинку».

И вот они пели, как и Деворра, не хуже. Почему хуже? Как «На реках вавилонских»: «О, мы разобьем детей твоих о камень, дочь вавилонская». Это — Нахамкис. Нахамкис кричит: «Зачем же лишили его права быть Стекловым», «благородным русским гражданином Стекловым», и так же стал «ругать зверски Михаила Александровича», как иудеянки хотели (ведь только *хотели*) «разбивать вавилонских детей о камня» (авилонский жаргон).

Это — гнев, ярость; но оттого-то они и живут, и не могут, и не хотят умереть, что — горячи.

И будь, жид, горяч. О, как Розанов — и не засыпай, и не холодей вечно. Если ты задремлешь — мир умрет. Мир жив и даже не сонен, пока еврей «все одним глазком смотрит на мир». — «А почем нынче овес?» — И торгуй, еврей, торгуй, — только не обижай русских. О, не обижай, миленький. Ты талантлив, даже гениален в торговле (связь веков, связь с Финикией). Припусти нас, сперва припусти к «торговле аптекарскими товарами», к аптекам, научи «синдикатам» и, вообще, введи в свое дело ну хоть из 7-8%, а себе — 100, и русские должны с этим примириться, потому что ведь не они изобретатели. Подай еврею, подай еврею, — он творец, сотворил. Но потом подай и русскому. Господи: он нищ.

О, довольно этой «нищенской суммы», этого христианского нищенства, из которого ведь выглядывают завидующие глазки. Но оставим. И вернемся к печальным песням Израиля.

И вот он играет, мальчишка, а девочка поет. Как я слушал эту песню безумную на Волге. И дети мои слушали. И они почти плакали. Впечатлительны все. «Ведь у вас был Самсон, еврей?» — Моргает. — «Помните, Самсон и Далила?» — «Как они сражались с филистимлянами?» — «Сражались, о, о...» — «Ну?» — «Теперь одна стена плача. Римляне разорили все»...

И они трясут кулаками по направлению Рима. «У... У... У...». Но, еврей, утешся: давно прошли легионы Рима; от Рима, «того самого», осталось еще меньше, нежели осталось от Иерусалима; он еще, гораздо глубже погребен. А вы все еще спрашиваете у ленивого хохла: «А все-таки, почему же пшено?»

Русские в странном обольщении утверждали, что они «и восточный и западный народ», — соединяют «и Европу и Азию в себе», не замечая вовсе того, что скорее они и не западный, и не восточный народ, ибо что же они принесли Азии, и какую роль сыграли в Европе? На Востоке они ободрали и споили бурят, черемисов, киргиз-кайсаков, ободрали Армению и Грузию, запретив даже (сам слушал обедню) слушать свою православную обедню по-грузински. О, о, о... Сам слушал, сам слушал в Тифлисе. В Европе явились, как Герцен и Бакунин, и «внесли социализм», которого «вот именно не хватало Европе». Между Европой и Азией мы явились именно «межеумками», т. е. именно нигилистами, не понимая ни Европы, ни Азии. Только пьянство, муть и грязь внесли. Это, действительно, «внесли». Страхов мне говорил с печалью и отчасти с восхищением: «Европейцы, видя во множестве у себя русских туристов, поражаются талантливостью русских и *утонченным их развратом*». Вот это — так. Но принесли ли мы семью? Добрые начала нравов? Трудоспособность? Ни-ни-ни. Теперь, Господи, как страшно сказать... Тогда как мы «и не восточный, и не западный народ», а просто ерунда, — ерунда с художеством, — евреи являются на самом деле не только первенствующим народом Азии, давшим уже не — «кое-что», а весь свет Азии, весь смысл ее, но они гигантскими усилиями, неутомимой деятельностью становятся мало-помалу и первым народом Европы. Вот! Вот! Вот! Этого-то и не сказал никто о них, т. е. «о соединительной их роли между Востоком и Западом, Европою и Азией». И — пусть. О, пусть... Это — да, да, да.

Посмотрите, встрепетесь, опомнитесь: несмотря на побои, как они часто любят русских и жалеют их пороки, и никогда «по-Гоголевски» не издеваются над ними. Над пороком нельзя смеяться, это — пре-

ступно, зверски. И своею и нравственною, и культурною душою они никогда этого и не делают. Я за всю жизнь никогда не видел еврея, посмеявшегося над пьяным или над ленивым русским. Это что-нибудь значит среди оглушительного хохота самих русских над своими пороками. Среди наших очаровательных: «Фон-Визин, Грибоедов, Гоголь, Щедрин, Островский». А вот слова, которые я слышал: «Послушайте, как вы смотрите на русского священника?» — «При всех его недостатках, я все-таки люблю его». — «Люблю? Это — мало: можно ли не чтить его: он получает корку хлеба, т. е. сельский священник, а сколько труда, сколько труда он несет». Это доктор Розенблюм, в Луге, в 1910 г. Я думал, он — немец. Расспросил — еврей. Когда разбиралось дело Панченко («Деласси и Панченко»), пришлось при экспертизе опросить какого-то врача-еврея, и он сказал серьезно: «Я вообще привык думать, что русский врач есть достойное и нравственное лицо». Я так был поражен обобщенностью вывода и твердостью тона. И за всю жизнь я был поражаем, что, несмотря на побон («погромы»), взгляд евреев на русских, на душу русскую, на самый даже несносный характер русских — уважителен, серьезен. Я долго (многие годы) приписывал это тому, что «евреи хотят еще больше развратиться русским»; но покоряет дело истине своей, и я в конце концов вижу, что это — не так. Что стояло безумное оклеветание в душе моей, а на самом деле евреи уважительно, любяще и трогательно относятся к русским, даже со странным против европейцев предпочтением. И на это есть причина: среди «свинства» русских есть, правда, одно дорогое качество — интимность, задушевность. Еврей — то же. И вот этою чертою они ужасно связываются с русскими. Только русский есть пьяный задушевный человек, а еврей есть трезвый задушевный человек.

Огромный красивый солдат, в полусумраке уже, говорил мне:

— Как отвратительно... Как отвратителен тон заподозривания среди этого Совета солдатских и рабочих депутатов. Я пришел в Таврический Дворец и не верю тому, что вижу... Я пришел с верою — в народ, в демократию...

Так как я пришел «без веры», то горячо и как бы «хватаясь за его руку», спросил у него:

— Да кто вы?

— Солдат из Финляндии... Стоим в Финляндии... Я, собственно, еврей...

— Я — русский. Русский из русских. Но я хочу вас поцеловать. —

И мы крепко поцеловались.

Это было, когда я захотел посмотреть «солдатских депутатов» в марте или апреле 1917-го года.

В том же месяце, но много позже:

Угол Литейной и Бассейной. Трамвай. Переполнен. И старается пожилой еврей с женою сесть с передней площадки, так как на задней «висят». Я осторожно и стараясь быть не очень заметным — подсаживаю жену его. Когда вдруг схватил меня за плечо солдат, очевидно не трезвый («ханжа»):

— С передней площадки запрещено садиться. Разве ты не знаешь?!?!...

Я всегда поражался, что эти господа и вообще вся российская публика, отменив у себя царскую власть «порывом», никак не может допустить, чтобы человек, тоже «порывом», вскочил на переднюю площадку вагона и поехал, куда ему нужно. Оттолкнув его, я продолжал поддерживать и пропихивать еврейку, сказав и еврею: «Садитесь, садитесь скорее!!»

Мотив был: еврей торопливо просил пропустить его «хоть с передней», ибо он спешил к отходу финляндского поезда. А всякий знает, что значит «опоздать к поезду». Это значит — «опоздать и к обеду», и пошло расстройство всего дня. Я поэтому и старался помочь.

Солдат закричал, крикнув и другим тут стоявшим солдатам («на помощь»): «Ташите его в комиссариат, он оскорбил солдата». Я, правда, кажется, назвал его дураком. Я смутился: «С комиссариатом я ко всякому обеду у себя опоздаю» (я тоже спешил). Видя мое смущение и страх, еврей вступился за меня: «Что же этот господин сделал, он только помог моей жене».

И вот, я не забуду этого голоса, никогда его не забуду, потому что в нем стоял нож:

— Ж-ж-ид прок-ля-тый...

Это было так сказано.

И как музыка, старческое:

— Мы уже теперь все братья («гражданство», «свобода», — март): зачем же вы говорите так (т. е. что «и еврей, и русский — братья», «нет больше евреев как чужих и посторонних»).

Я не догадался. Я не догадался...

Я слышал всю музыку голоса, глубоко благородного и глубоко

удивляющегося.

Потом уже, назавтра, и даже «сегодня» еще, я понял, что мне нужно было сняв шапку, почти до земли поклониться ему, и сказать: «Вот я считаю врагом еврейства, но на самом деле я не враг; и прошу у вас прощения за этого грубого солдата».

Но солдат так кричал и так пытался схватить и действительно хватал за руку со своим «комиссариатом», что впопыхах я не сделал естественного.

И опять этот звук голоса, какого на русской улице, — уж извините: на русской пох...ной улице, — не услышишь.

Никогда, никогда, никогда.

«Мы уже теперь все братья. Для чего же вы говорите так?»

Евреи наивны; евреи бывают очень наивны. Тайна и прелесть голоса (дребезжащего, старого) заключалась в том, что этот еврей, — и так, из полубразованных мещан, — глубоко и чисто поверил, со всем восточным доверием, что эти плуты русские, в самом деле «что-то почувствовав в душе своей», «не стерпели старого произвола» и, вот, «возгласили свободу». Тогда как, по заветам русской истории, это были просто Чичиковы, — ну «Чичиковы в помеси с Муразовыми». Но уже никак не больше.

Форма. Фраза.

И вдруг это так перерезало музыкой. Нельзя объяснить, не умею. Но даже до Чудной Девы мне что-то послышалось в голосе. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасе моем».

Я хочу то сказать, что все европейское как-то необыкновенно грубо, жестко сравнительно с еврейским. Тут тайна Сирии и их жарких стран. Тут та тайна еще, что они Иова слушают не две тысячи лет, а пять тысяч лет, да очевидно и слушают-то другим ухом. Ах, я не знаю что... Но я знаю, что не в уме евреев дело, не в деятельности и деловитости, как обыкновенно полагают, а совершенно в ином... Дело заключается, или почти должно заключаться в какой-то таинственной Сулами-фи, которая у них разлита во всем, — в ином осязании, в иной восприимчивости к цветам, в иной пахучести, и как человека «взять», «обнять», «приласкать». Где-то тут. «От человека к человеку». Не «в еврее», а в «двух евреях». И вот тут-то они и разливаются во всемирность.

«Русские — общечеловеки». А когда дело дошло до Армении, — один министр иностранных дел (и недавний) сказал: «Нам (России) нужна Армения, а вовсе не нужно армян». Это — деловым, строгим

образом. На конце тысячелетия существования. России. Т. е. не как восклицание, гнев, а (у министра) почти как программа... Но ведь это значит: «согнал бы и стер с лица земли армян, всех этих стариков и детей, гимназистов и гимназисток, если бы не было неприлично, и не показалось некультурно». Это тот же Герцен и тот же социализм. Это вообще русский нигилизм, очевидно *вековечный* (Кит Китыч, о жене своей: «хочу с кашей ем, хочу со щами хлебаю»). Опять, опять «удел России»; — очевидно, не русским дано это понимание в удел. Несчастные русские. — о, обездоленные... Опять же, евреи; на что — погромы. Ведь это — ужас. И вот все же они нашли и после них — все слова, какие я привел, — и смогли порадоваться русской свободе, и оценить русского попа. Да и вообще, *злого глаза, смотрящего украдкою или тайно за спиною русского, я у еврея не видал.*

Я и хочу сказать, что дело заключается в какой-то деловой всемирности, — не отвлеченной, не теоретической, а, с другой стороны, — не вздыхающей и слезливой, а практической и помогающей. Самый «социализм их», как я его ни ненавижу, все-таки замечателен; все-таки ведь социализм выражает мысль о «братстве народов» и «братстве людей», и они в него уперлись. Тут только наивность евреев, которые решительно не так умны, как европейцам представляется, как европейцы пугаются. Они взяли элементарно, первобытно, высчитывая по пальцам: «кто с чем, с каким имуществом живет», и не догадываясь, что все зависит от «как этот человек живет»; что можно жить с большим богатством — *как в аду*» (наши Кит Китычи) и можно жить на кухне, «в прислугах» — «счастливее господ». Решительно я замечал, как многие «господа» живут печальнее, грустнее и раздраженнее своих прислуг, которые по самым лицам их видно — живут «благословясь» и «в благословении». Социализм вообще плосок, доска, — и безмерная наивность евреев, что они восприняли его, что они поверили в такой глупый счет арифметических машин. И я верю, что это непременно и скоро кончится. *Им ли, им ли, после их ли истории и судеб, — верить этому... Им ли, которые в неге реализма («будь все как есть») произнесли: «льна курящегося не погаси» и «трости надломленной не переломи», — и которые, если кто богатый обеднеет у них, то община обязана не только содержать его, но и купить ему карету, если прежде была у него карета: дабы он не испытывал перемены в самом уровне своего положения и не скорбел через самую мысль даже о нем...* Это именно нега благородства и человечности, и выраженная кухонным, т. е. реальнейшим способом.

«Так несчастно живут в их гетто» и их «свинные кагалы». (Мне сообщил это еврей, торговец дамскими ботинками, в совершенно темном вагоне, в Спб., в Варшавском вокзале; он был, что такая у них редкость, немного не трезв.) Вот! вот! вот! настоящая идея уравнивания бедного и богатого; помощь бедному и *помощь богатому*, дабы оба держались «на том же уровне», без ощущения разницы температур *привычной жизни*, жизни — просто от *роду*. О, гений универсальности и чуткости. Богач может также скорбеть, и *страдания его могут быть величайшие*. Нельзя завистливым взглядом смотреть на богатство. Это — христианство. И чуть ли *именно по зависти*, а не по «*благости*» — социализм есть воистину христианское явление. Самый «социализм» или «социализация» — без христианства — выразился бы, пожалуй, в другом, иначе: обедаю *сам*, но и еще лишнему, гостю, *чужому с улицы* — даю обед, сажаю с собою его за стол, *не отягощаясь*, что это — чужой. Социализм выразился бы *близостью*, социализм выразился бы *любовью*; а не — «перерву горло» у солдата, закричавшего: «Жид проклятый». Словом, социализм выразился бы тоже одним из таинственных веяний Суламифи, каким — мы не знаем, если бы он был оригинально-евреем, а не подражательно-евреем (от европейцев). Да вот: «Дай, я умою ноги тебе», о нищем, о бедном. Тут именно «дотронуться», дотронуться *до бедного*. Как я и сказал: «Надо пощупать кожу его».

Суть вещей. Суламифь. Ведь вся «Песнь песней» — пахуча. Тайна вещей, что он не «добр», а — *нежен*. Добро — это отвлеченность. Добро — это долг. Всякий «долг» надоест когда-нибудь делать. Тайна мира, тайна всего мира заключается в том, чтобы *мне самому было сладко делать сладкое*, и вот тут секрет. «Сними обувь, и я, взяв холодной воды, — проведу по подошвам твоим, по подъему ноги, по пальцам». Тут так близко, что уже есть любовь. «Я замечу старую морщину у старика, — да и так, может выйти случай, шутка около омовения ног». Это вообще так близко, что не может не завязаться шутка и анекдот «около ноги». Ну, вот, видите; а раз — шутка и анекдот, то уже никогда не выйдет холодного, холодного потому — что *формального, liberte, fraternite, egalite*. К великим прелестям еврейской истории относится то, что при всей древности и продолжительности *ее* — никому у них даже не мелькнуло сказать такой пошлости. Такой неверности и такой несправедливости. Ибо ведь нужно и истину и справедливость перевернуть вверх дном, дабы между неодинаковыми, ничего между собою не имеющими общего, людьми, установить *egalite* да и еще родствен-

ное — *fraternite*.

Прямо чувствуешь франтов и маркизов XVIII-го века, *fin du siecle* XVIII-е. А это:

«Около тебя *раба твоя*, Руфь...» — «И будет мне по глаголу твоему»... Какие-все тоны! Ты плачешь, европеец. Плачь же. Плачь бедными своими глазами. Плачь, потому что в оригинальной твоей истории ты вообще не сотворил таких словооборотов, сердцеворотов, умоворотов. Вся душа твоя — площе, суше, холоднее. О, другое солнце, другое солнце. Другая пахучесть, иные травы. И — посмотрите, королевы ли, маркизы, жены, любовницы, ведь Суламифь — всего только любовница. Любовница? И никто не отрицает. Но жены стоят и рыдают: «О, как хотели бы мы только побыть такою любовницею». И вот — посмотрите чудо, чудо уже в нашей истории и «в строгостях наших», и церковь не отрицает, что это — только любовница. Но и она рыдает и говорит: «Какое чудо... Я знаю — кто она, эта Суламифь; и — не осуждаю, и обнимаю ноги ее, потому что она вся прекрасна и благородна, и нет лучшей между женами по чистоте мыслей и слов».

И чувствуете ли вы, европейцы, что вот уже и весь мир преобразен. Нет ваших сухих категорий, нет ваших плоских категорий. Где юриспруденция? Где законы? Нет, где — гордость? А из нее у Европы — всё. Вся Европа горда, и из гордости у нее всё. Не надо! Не надо! Небо, небо! Неба дай нам. А небо...

Оно там, где рабство. Где рабы счастливее господ. А «где рабы счастливее господ» — это тайна Израиля. Ибо поистине Суламифь была счастливее Соломона и Агарь прекраснее Авраама. Вот.

Апокалипсис нашего времени. 1918 г.

ВЛАДИМИР(ЗЕЕВ) ЖАБОТИНСКИЙ

НА ЛОЖНОМ ПУТИ

Заметка о «странном явлении» вызвала оживленный газетный спор, но спор этот, к сожалению, пошел по нелепой линии. Получилось такое впечатление, точно я в своей заметке спрашивал русских: почему вы, добрые люди, не ходите в собрания? Не потому ли, что вам не хо-

чется якшаться с евреями? И вот, несколько почтенных русских сограждан удостоверили, что они, напротив, очень рады якшаться с евреями, да только как-то все не случалось, — и несколько почтенных еврейских коллег тоже откровенно признались, что настоящая русская интеллигенция чрезвычайно любит еврейскую. Очень приятно, прочел с удовольствием. Но зачем это все было написано — не знаю. Я этого вопроса не ставил. Отчасти потому, что нет смысла наивничать и спрашивать «любишь ли ты меня?» там, где каждый ребенок на улице знает всю правду. А главным образом потому, что как раз я меньше всего этим вопросом интересуюсь. По-моему, он никакого отношения не имеет даже к спору о том, надо ли «размежеваться». Журналист еврейского происхождения, о котором я в той статье рассказывал, действительно дошел до мысли о необходимости «размежевания» только потому, что заметил со стороны русских явное нежелание «якшаться». Но на то он ассимилятор. Для людей моего лагеря суть дела совершенно не в том, как относятся к евреям остальные народности. Если бы нас любили, обожали, звали в объятия, мы бы так же непреклонно требовали «размежевания». Ибо мы думаем, что миссия каждой нации — создать свою особую культуру, и мы думаем, что это достижимо только путем полюбовного размежевания. Какое нам дело с этой точки зрения до любви или антипатии соседей? Если они евреев не любят, мы об этом очень жалеем; если полюбят, будем очень рады и будем платить взаимностью; но наше отношение к ассимиляции от этого не зависит. Мы не желаем, чтобы евреи стали русскими, даже если русская интеллигенция начнет скопом ходить на вечера литературного клуба.

Моя заметка имела в виду совершенно другую цель. Интересует меня не отношение христиан к еврейской ассимиляции, а самочувствие еврейских ассимиляторов. Я считаю их позицию в основе по существу ложной и стараюсь проследить и отметить те случаи, когда эта внутренняя ложь обнаруживается особенно выпукло, когда сама жизнь, так сказать, демонстрирует против ассимиляции. Такой случай, по-моему, теперь налицо, когда ассимилированные евреи в огромном городе вынуждены фигурировать в роли единственных носителей русской культуры — «единственных музыкантов на чужой свадьбе, с которой хозяева ушли». На эту ситуацию я хотел обратить внимание самих «музыкантов», предложить им обдумать ее и сделать выводы. Так как дискуссия вместо того направилась по совершенно постороннему фарватеру, то позволю себе вернуться к сути вопроса и сделать эти выводы так, как я

их понимаю.

Совершенно неопровержимо установленным я считаю тот факт, что ассимилированные евреи в нашем городе действительно очутились в роли единственных публичных носителей и насаждателей русской культуры. Этого никто во всей дискуссии даже не пробовал отрицать, ибо это слишком яркая очевидность. Обсуждая и оценивая эту любопытную ситуацию, я прежде всего нахожу ее в высочайшей степени комичной.

Почему она комична — я доказать не умею. Смешное не доказывается, анекдот не требует аргументации. Комизм ощущается непосредственно, и basta. И я утверждаю, что этот комизм положения, когда евреям в полном одиночестве приходится чествовать Пушкина и Комиссаржевскую, ощущается решительно всеми, прежде всего самими «музыкантами». Я часто встречаюсь со своими противниками, но не встретил еще ни одного, который не чувствовал бы этого комизма. Иначе нельзя объяснить и переполоха, который вызвала именно эта моя заметка. Мне случалось уже писать, например, и о том, что много рядовых либеральных христиан в глубине души верят в ритуальную сказку: это похуже, поопаснее, чем нехождение на «четверги», и однако никто из ассимиляторов так не взволновался, как на сей раз. На сей раз было такое впечатление, словно людей вдруг обнажили, указали пальцем как раз на ту мозоль, за которую им в душе особенно неловко, и вот они изо всей силы стараются прикрыть ее чем попало. Очевидно, каждый в душе чувствует, что «ассимиляция», «слияние» с окружающей средой обязательно требует «рецепции», согласия окружающей среды; для того, чтобы обрусение не было унижительным, необходима тут же наличность большой русской толпы, в которой евреи могли бы рассыпаться, разместиться, растаять — и притом с ее хотя бы молчаливого согласия. Тогда бы в этой массе действительно все перемешалось; рядом с тремя русскими ораторами мог бы тогда выступить четвертым и еврей и тоже сказать «мы, русские» или «наша русская литература» — и это стерлось бы, утонуло бы в общем впечатлении. Но когда русской толпы нет и никак ее не заманишь и не притянешь, и на празднествах русской культуры в полумиллионном городе одни евреи, совершенно лишенные русского прикрытия, бьют в барабан и кричат «ура» во славу «нашей литературы», — то эта ситуация комична, потому что комична. Лет пять тому назад польская печать горячо обсуждала вопрос, ехать ли в Прагу на всеславянский съезд; наконец, все согласились, что надо ехать, — Ро-

ман Дмовский согласился. Сенкевич согласился, графы Тышкевичи, князя Радзивиллы и прочие лидеры и магнаты согласились. Один только Станислав Кемпнер (тот самый, которого Немоевский называл потом «Шая Кемпнер») долго еще упирался и настаивал, что «мы, поляки», не должны ехать в Прагу, ибо это братание с остальными славянами может повредить «нашим» польским интересам. Может быть, я неточно помню все имена, но случай этот был. И вся Польша хохотала над этим сверхполяком и была права, потому что это было комично. Ассимиляция по природе своей требует незаметности, *наглядной* возможности утонуть в громаде ассимилирующего тела; где девять русских, там еврей еще кое-как может быть «десятым русским», но когда пропорция обратная или того хуже — весь, как говорится по-еврейски, «миньян» состоит из великороссов еврейского происхождения, то это есть явление высочайшего и глубочайшего социального комизма.

Конечно, когда обнаруживается социальный комизм какой-нибудь ситуации, разные люди по-разному на это реагируют. Одни, у которых более плоская душа и более толстая кожа на ланитах, продолжают выступать гоголем; о таких нечего разговаривать, так как это элемент, лишенный всякой культурной ценности. Но есть и в ассимилированном лагере люди более тонкой организации. Для таких увидеть себя в ситуации, полной такого органического комизма, есть болезненный удар в ту самую точку сердца, где хранится у человека его лучшее богатство — его гордость. Для таких людей комизм превращается в трагизм. Я уверен, переполох, вызванный в стане ассимиляторов дискуссией по поводу «странного явления», объясняется еще и тем, что лучшие, наиболее чуткие и вдумчивые люди этого стана почувствовали не простую неловкость от комического положения, но и настоящую боль, укол в самое чувствительное место, и им на минуту стало жутко от мысли: а что, если все это правда? А быть может, я и сам давно все это подозревал, только не решался формулировать? И на минуту почудилось им, что, быть может, вся работа их жизни действительно прошла по ложной колее и завела их вместе с их паствой, куда не надо... — Но, конечно, даже чуткий человек, если он уже затратил несколько десятков лет на данной черте, в конце концов прогонит черные мысли и даст себя успокоить обычными словесами. Остается только маленькая трещина в душе — и если она осталась, я очень рад: этого я добивался.

Но патологичность ситуации не только в ее комизме и даже не в трагическом привкусе этого комизма. Еще хуже другое. Хотя мы здесь

«шумим, братец, шумим», а настоящие русские молчат, но тем не менее для всего мира ясно глубокое несоответствие между шумом и ценностью. Ни один серьезный зритель не сомневается, что хоть шумят на русских культурных праздниках евреи, а все-таки истинной, стихийно-неурушимой опорой и источником русской культуры служат не те, которые шумят, а те, которые молчат. Если судить по шуму, то выходит, будто русские 1-го разряда, активные русские, — это и есть ассимилированные евреи, тогда как люди настоящего русского происхождения — это, как выражается Отто Бауэр, *Hintersassen der Nation*, русские 2-го сорта. Между тем ясно и неопровержимо, что это в сущности как раз наоборот. Именно с момента, когда еврей объявляет себя русским, он становится гражданином 2-го класса.

Я, националист, ни за что не признаю себя в России гражданином 2-го разряда. Я считаю себя принципиально таким же хозяином в этом государстве, как и русского; я желаю говорить, учиться, писать, судиться, управляться на моем национальном языке, ни к кому не намерен подлаживаться и приспособляться и требую, напротив, чтобы государство приспособлялось к моим национальным домогательствам точно так же, как оно должно приспособиться к домогательствам русских, украинцев, поляков, татар и т.д., гармонизировав эти все требования в общем «народо-союзном» строе. Покуда я так смотрю на свое место в России, я не выше других и не ниже других, мы все граждане одного ранга. Но если я захочу пролезть непременно в русские, то дело сразу меняется. Тут я попадаю в положение неопфита. Чужая национальная сущность, чужая психика и ею пропитанная культура не могут быть по-настоящему усвоены даже за срок целого поколения, даже за срок нескольких поколений. Сохраняется акцент в речи, и точно так же сохраняется особый «акцент» души. Могут ли эти оттенки совершенно исчезнуть впоследствии, через много-много лет, это вопрос другой, которого я здесь не касаюсь; но покуда они есть, до тех пор я обречен числиться ненастоящим, неполным русским, кандидатом в русские, подмастерьем русско-культурного цеха. Меня могут любить или не любить, это к делу не относится; но совершенно ясно, что источник и оплот русской культуры не в неопфите, а в той массе, с которой он еще только старается слиться. Когда людям понадобится настоящее русское творчество, они оттолкнут изделие неопфита и скажут: может быть, это подделано очень мило, может быть, это и лучше, чем настоящее русское, — но извините, нам нужно не это, а настоящее русское. Это и значит

быть русскими 2-го разряда. Надо различать понятия: россиянин и русский. Россияне мы все от Амура до Днепра, русские только треть в этой массе. Еврей может быть россиянином первого ранга, но *русским* — только второго. Так на него в этой роли смотрят другие, и так на себя невольно смотрит он сам.

Здесь я не буду вновь поднимать спор о том, многим или малым обязана русская, немецкая, французская и пр. литературы ассимилированным евреям, достаточно ли усвоили эти писатели из евреев соответствующий национальный «дух» и т.д. Спорить об этом трудно потому, что это вопрос чутя, ошупи, и еврейские судьи тут совершенно не компетентны. Сколько бы ни божился еврейский критик, что Гейне — подлинный немец по духу, вопрос этим не будет решен. Но я интересуюсь этим вопросом больше с политической стороны. Здесь дело ясное, здесь мы не бродим в потемках эстетических оценок, а имеем пред собой массовые факты. И эти факты ясно говорят, что ассимилированный еврей при первом серьезном испытании всегда и всюду оказывается таким же плохим «ассимилятором», как и плохим евреем. Он объявляет себя немцем, покуда господствуют немцы, и старается делать так, чтобы по виду его нельзя было отличить от настоящего немца. Но как только господство переходит к другой национальности, моментально обнаруживается различие: настоящие немцы остаются немцами, выдерживают борьбу и несут на себе все жертвы, между тем как тевтоны израильского происхождения с поразительной быстротой начинают отрясать прах немецкий и присоединяться к национальности нового хозяина. Я уже несколько раз вскользь упоминал об этих поразительных превращениях, но стоит еще раз на них остановиться, и подробно, ибо они гораздо яснее всех прочих доводов показывают истинную внутреннюю прочность еврейской ассимиляции.

В 40-х годах прошлого столетия Австралия, включавшая тогда и Венгрию, была почти сплошь онемечена. По крайней мере, так должно было показаться туристу, который посетил бы *города* империи. Только на юго-западе, в итальянских провинциях, он нашел бы сильную итальянскую культуру — и то с большими немецкими заплатами; но Будапешт весь говорил по-немецки, мадьярская речь едва слышалась на задворках; в Праге и думать забыли о том, что где-то на свете есть чешская речь; и даже в Галиции немецкая речь на улицах, в официальных учреждениях, в университетах и на вывесках соперничала с польской, и большей частью победоносно соперничала. Словом, картина онемече-

ния *городской* Австрии была полная. Где-то в деревне прозябали чешские, словинские, русинские мужики, но с ними никому и в голову не приходило считаться; казалось совершенно ясным, ясным прежде всего для них самих, что их речь — мужицкая речь, для культурных целей непригодная. и для каждого порядочного человека просвещение — синоним германизации. Некоторые сомнения вызывали упрямые итальянцы, беспокойные мадьяры и крамольные поляки, но благоразумные люди надеялись, что и эти злоумышленники сами поймут свою ошибку. Ведь человечество должно сближаться, а не разделяться; это проповедывал еще мудрый император Иосиф II, начертавший в одном декрете: «Нет лучшего средства приучить граждан ко взаимной между собой любви, как дав им единый общий язык». И в доказательство сослался — на Российскую Империю. Но прав он был в том отношении, что внешняя культурная физиономия Австрии в его время и десятки лет после него была очень похожа на тогдашнюю или теперешнюю культурную физиономию России: и там, как тут, господствовали почти нераздельно язык и культура главного хозяина; и там, как тут, совершенно или почти совершенно забыли о существовании других народностей.

В этой обстановке началось пробуждение австрийского еврейства. Выйдя из гетто, сняв халаты, подрезав пейсы, его передовые сыны осмотрелись вокруг и увидели, что все приличное общество говорит по-немецки. Они тоже заговорили по-немецки: это им далось даже легче, благодаря жаргону, чем соседям. В Праге, во Львове, в Будапеште евреи начали считать себя немцами, были очень довольны таким повышением в чине и думали, что на этом можно и успокоиться.

Но вот они стали замечать, что, например, в г. Праге начинает твориться что-то странное. Какие-то оригиналы вдруг затеяли говорить по-мужицки, и не только у себя дома, но и на улице, и в театре, да нарочно так, чтобы все слышали. Сначала это смешно, потом начинает раздражать. Тем более, что эти оригиналы выдвигают еще в придачу какие-то претензии. — Мы, чехи, в этом крае большинство, — заявляют они, — а потому Прага должна быть наша, в судах и школах и даже в университете должен господствовать наш язык, а немецкому достаточно места в Вене. — Слыша такие вздорные речи, немцы пожимают плечами: как смеют мечтать о таких вещах эти санюлоты, у которых даже литературы еще нет? А они отвечают: у нас есть Ганка, Палацкий, Краледворская рукопись; начало есть, а продолжение будет. — Немцы сначала отшучивались, а потом стали сердиться и отвечать возгласом:

долой чехов!

И тут евреи попали в щекотливое положение. Раз они записались в немцы, то надо было показать себя хорошими немцами. А так как еще к тому же настоящие немцы немного косились на них и не вполне им еще доверяли, то надо было особенно постараться — так сказать, перекричать самого заправского немца. Кроме того, их и в самом деле раздражали претензии некультурного чеха. Как так? Значит, в Праге будет, например, в городском театре не немецкая, а чешская драма? В обществе придется вести светский разговор не по-немецки, а по-чешски? Этим бедным людям с таким трудом дался немецкий язык, столько пришлось попотеть над устранением предательского акцента — и что же, все это насмарку? Начинать сначала учиться по-новому? Нет, не бывать тому! И вот, наравне с немцами и еще громче немцев начали евреи подпевать: долой чехов! Прага «наша», немецкая!

Но чехи не испугались ни немцев, ни евреев. Шаг за шагом, день за днем, наползали из деревни в Прагу чешские муравьи, постепенно проникали во все щели и по крохам строили свою культуру. У них появились газеты, книжки, потом книги, потом целая литература, потом гимназия, потом университет. И вдруг, в один прекрасный день, немцы Моисеева закона не узнали своей Праги. От немецкого всевластия остались одни огрызки. В городской думе ни одного немца, на улицах и в театре чешская речь, придишь в магазин — не желают тебе отвечать по-немецки, а если ты сам купец — изволь говорить с покупателем по-чешски, а то наденет шапку и уйдет в соседнюю лавку — к чеху. А в газетах, даже самых либеральных, очень недвусмысленно пишут, что евреям следовало бы поостеречься насчет немецкого рвения, потому что, ежели немцам мы его прощаем, то уж евреям не простим. И... евреи начали понемножку переписываться из немцев в чехи. Появились чехи Моисеева закона. Сначала мало, потом больше, а теперь большинство. Но так как настоящие чехи кричат: «долой немцев», а еврей старается быть совсем как настоящий чех и даже еще лучше, то дети или младшие братья тех, что кричали когда-то «долой чехов!» — тоже кричат вместе с новыми хозяевами: — Долой немца!

То же самое было в Галиции. Известно, до какого раболепства дошел теперь на польской службе галицийский ассимилятор, знаменитый «Мошко». Он и туда, он и сюда, он за польщизну душу готов положить, он за польскую культуру согласен раздавить и русин, и евреев, а уж немцев, притесняющих «его братьев» в Познани, он ненавидит выше

всякой меры. Но хотите знать историю этого польского энтузиазма? Ярким образчиком ее был покойный депутат Эмиль Бык, член польского коло и ярый колонизатор, умерший в 1906 г. Не далее, как в 1873 г. он еще состоял всей душой в немцах, разъезжал по Галиции и агитировал, чтобы все евреи записались в немецкую партию. Но потом, хорошенько осмотревшись и увидев, куда ветер дует, он «перестал быть» немцем и «сделался» поляком с той же легкостью, с какой человек из маклера становится сватом, и с тех пор не было у поляков в Галиции более верного лакея и у немцев более грозного врага. И эту эволюцию проделало все старшее поколение ассимиляторов. Когда-то они состояли в немцах и ворчали на поляков; теперь они состоят в поляках и стараются делать все так, как делают настоящие поляки. Но настоящие поляки боятся теперь в Галиции не немца, а нового врага. На сцену все решительнее выдвигается новый претендент: русины. Их в Галиции 3 миллиона, а в восточной половине они составляют огромное большинство; Львов лежит в Восточной Галиции, а потому они заявляют на него самые категорические притязания. Это не Лемберг, говорят они, и не Львув, а Львив, столица австрийской Украины, город этот должен быть наш, в судах, в участке, в университете должен господствовать украинский язык, а для польского довольно места и в Кракове. Иными словами, повторяется история с Прагой... И духовные братья Эмиля Быка, с недалёковидностью, типичной для всех ренегатов, во все горло подхватывают лозунг «долой гайдамаков!» — забывая, что через 30 лет эти «гайдамаки» неизбежно будут полными господами Восточной Галиции... Впрочем, что за беда? Мошко тогда перевернется в третью национальность. Я теперь не спорю о том, хорошо это или дурно с нравственной точки зрения. Настаиваю только на одном: это *факты*, и эти факты неопровержимо доказывают одно: когда еврей воспринимает чужую культуру, превращается в немца, чеха или поляка, то каков бы ни был его энтузиазм, нельзя полагаться на глубину и прочность этого превращения. Ассимилированный еврей не выдерживает первого натиска, отдает «воспринятую» культуру без всякого сопротивления, как только убедится, что ее господство прошло и хозяйское место переходит в другие руки. Он не может служить опорой для этой культуры: с каким бы оном пылом о ней ни говорил, неглубокость и непрочность корней, которыми она связана с его душой, обнаруживается при первом серьезном испытании. К этому выводу приходят все авторитетные наблюдатели национальных отношений, самые серьезные, самые спокойные, как проф. Раухберг в сво-

ем капитальном труде о Богемии, как М. Hainisch в своей обстоятельной статистико-экономической монографии о перспективах австрийского развития. И даже социал-демократ Шпрингер, говоря о венгерских евреях, которые тоже 60 лет тому назад «были немцами», а теперь на каждом шагу поют гимны «нашей мадьярской культуре», — ставит им уничтожающий прогноз: «Они останутся мадьярами, покуда венгерским государством правят мадьяры, — ни минуты дольше». Но настоящие мадьяры, и потеряв владычество над инородцами, все же останутся мадьярами — и в этом, а не в шуме скажется различие между мадьярами первого и второго сорта...

Всем тем из стана ассимиляторов, которые не утратили еще прямого взгляда на вещи и самостоятельности мышления, я задаю вопрос: где доказательство, что здешние евреи сделаны из лучшей глины, чем евреи Будапешта, Лемберга, Праги? Те ведь тоже не были сознательными лицемерами, субъективно они были искренни и тогда, когда обожали все немецкое, и теперь, когда обожают чешскую или мадьярскую культуру. Следовательно, дело не в субъективном энтузиазме, который вовсе не доказывает глубины чувства, а дело в каких-то объективных моментах, которые создают действительную, кровную связь между человеком и *его* культурой, рожденной *его* предками и *его* братьями из *его* национальной души. У евреев ближнего запада этих моментов при испытании не оказалось. Почему мы забываем о том, что и нам, по-видимому, грозит точно такое же испытание? Главная масса евреев живет среди украинцев, поляков, белоруссов, литовцев: эти народы начинают теперь подымать головы так же точно, как 60 лет тому назад начали делать это чехи. Это происходит у нас на глазах, пройти мимо этого явления может только близорукий. Надо же иметь нам линию поведения не только на сегодняшний, но и на завтрашний день. Ведь одно из двух: или Россия останется в полицейских тисках, или все эти народности используют политическую свободу прежде всего для того, чтобы сделать из России большую Австрию; хотим мы этого или не хотим, это будет, и ни Струве, ни мы с вами не «уговорим» ни тридцатимиллионную массу малороссов, ни даже маленький литовский народ. Как же мы определим свою позицию к этому моменту? Какова будет наша роль в этой будущей России, где сто народов вокруг нас будут развиваться самобытно, создавая свои национальные ценности на своих языках? Останемся ли мы тогда в роли, на которую намеки есть уже и теперь, — в роли единственных носителей руссификации на окраинах? Или пойдем

по пути австрийских ассимиляторов, меняя национальность при каждом перемещении политических сил? Или, быть может, выберем третью дорогу, предоставим русским быть русскими, полякам поляками, а сами воздвигнем *свои* маяки?

Я прекрасно понимаю, что «ассимилятор» есть, чаще всего, продукт ассимиляции, и переделать себя он в известном возрасте уже не может. Он привык жить русской культурой, ему другая недоступна, и ему некуда уйти. Не обречь же себя на духовный голод. Это я понимаю. От каждого отдельного человека нельзя требовать личных жертв, да еще таких длительных, на всю жизнь. Речь идет пока не о личном поведении того или иного еврейского интеллигента. Речь идет о политической ориентации. Мы не только лично живем, но мы и прокладываем линии для будущего. Если мы попали в тупик и известной части нашего поколения уже нет из него выхода, то ведь остается долг — направить завтрашние поколения по другой колее. Созидание национальной культуры, борьба за ее гегемонию в еврейской душе — это задача и для того из нас, кому лично уже не суждено пить из ее родников. Пусть он строит для своего сына, пусть чертит план жизни для более счастливых. И главное, пусть громко признает, что *его* путь был ложный путь, и станет на пороге западни, куда сам попал, — станет на пороге, не пуская других.

РУССКАЯ ЛАСКА

...Ко мне постучался презренный еврей...

Пушкин.

И пошло! В учебнике сказано, что тихая стоячая вода может остыть иногда ниже нуля, не замерзая, но достаточно бросить в нее камень, чтобы она мгновенно покрылась льдом. Это часто наблюдается и в делах человеческих. Теперь имеем случай любоваться этим замечательным явлением природы по милости инцидента с «национальным лицом». На днях еще за стыд и срам считалось русскому интеллигенту выговорить этакое слово без презрительной гримасы, а теперь даже такая заскорузлая, стерилизованная невинность, как «Наша газета», через номер усердно склоняет и спрягает «национальные» словеса. И оказывается, что они, видите ли, всегда дорожили национальными моментами, всегда понимали, что правильное национальное чувство есть вещь безусловно прогрессивная, и чуть ли не за то, главным образом, и сер-

чали на русское начальство, что оно унижает национальное величие! Поистине трогательное открытие. Кто подозревал о присутствии такой контрабанды под спудом, а особенно в «Нашей газете», в этом классическом образчике русско-интеллигентской передовитости, в этом бесполом органе строго выдержанного направленчества без направления, в этом щепетильно отгороженном и чистенько подметенном пустом месте, на котором группа тщательно подобранных бесцветностей, не моргая, при всем честном народе смотрит тебе в пуп? Такая была идеальная тихая и стоячая вода, но, видно, крепко прохватило ее окружающей температурой; попал в нее камень, да еще брошенный неумной и может быть, нетрезвой рукою, — и пошло!

Многих из нас это ошеломило — потому что мы плохие наблюдатели. Конечно, тот тонкий слой, который носит имя передовой русской интеллигенции и задает искони тон в печати, до последнего времени, просто не интересовался своей великорусской национальностью, как здоровый человек не интересуется своим здоровьем, особенно когда у него других хлопот полон рот, хата не топлена и сквозь крышу небо плачет. Сытый кашей каши не просит, особенно когда у самого сапоги просят каши. Но мы, по еврейской нашей склонности подчеркивать и размалевывать, а еще больше по надобности оправдать ассимиляцию, прицепили к этой особенности русского интеллигента бесконечный хвост распространительных толкований. Из настроения, обусловленного только национальной сытостью великоросса, мы сделали чуть ли не элементарную черту его характера: мы шумели на разные лады, что именно русские, не в пример немцу и всякому другому басурману, органически на «это не способны», что им от роду присуще некое вселенское начало и отменно теплые чувства по всем направлениям, без различия веры и племени. И, как всегда, мы самих себя гипнотизировали своим шумом и победоносно пролетали мимо самых ярких фактов, не удостоивая на них оглянуться. Даже мимо погромов попробовали сгоряча проскакать без оглядки, свалив всю беду на подстрекателей сверху и «отбросы общества» снизу, как будто оглушительный успех подстрекателей сам по себе не характерен для данной среды, или как будто отбросы не характерны для выделяющего их организма. Но был еще факт, мимо которого мы пробежали с зажмуренными глазами; и даже не мимо него, а насквозь, проникая внутрь и ничего не замечая, глядя и не видя, смакуя и не чувствуя дегтя, анализируя тонкости и не натыкаясь на оглоблю. Этот факт — русская литература, та самая, что со времен еще

Радищева славил свободу и милость к падшим призывала, та самая, что так сильно проникнута идеями подвига и служения; та самая, которая устами своих лучших ни одного доброго слова не сказала о племенах, угнетенных под русскою державой, и руками своих первых пальцем о палец не ударила в их защиту; та самая, которая зато руками своих лучших и устами своих первых щедро обделила ударами и обидами все народы от Амура до Днепра, и нас больше и горше всех.

На днях праздновали юбилей Гоголя, и немало евреев использовали, конечно, этот случай лишний раз «поплясать на чужой свадьбе». Должно быть, в некоторых еврейских училищах черты оседлости устроили и еще устроят после каникул гоголевские торжества, учитель русского языка скажет прочувствованное слово, учитель физики покажет в волшебном фонаре картинку из «Тараса Бульбы», а потом ученики или ученицы, картавя, пропоют перед бюстом: «Николаю Васильевичу слава-ва». И девяти десятым из устроителей и участников не придет в голову задуматься, какова с нравственной точки зрения ценность этого обряда целования ладони, которой отпечаток горит на еврейской щеке; не придет в голову, какой посев компромисса, бесхарактерности, самоунижения забрасывается в сознание отрочества этим хоровым поклоном в ноги единственному из первоклассных художников мира, воспевшему, в полном смысле этого слова, всеми красками своей палитры, всеми звуками своей гаммы и со всем подъемом увлеченной своей души воспевшему еврейский погром.

Стоило бы, может быть, в честь юбилея тут переписать слишком забытые несколько страниц из того же «Тараса Бульбы». Ничего подобного по жестокости не знает ни одна из больших литератур. Это даже нельзя назвать ненавистью, или сочувствием казацкой расправе над жидами; это хуже, это какое-то беззаботное, ясное веселье, не омраченное даже полумыслью о том, что смешные дрыгающие в воздухе ноги — ноги живых людей, какое-то изумительно цельное, неразложимое презрение к низшей расе, не снисходящее до вражды. Стоило бы процитировать, да не хочется. Все равно, кому нужно усердствовать, тех не остановишь. Нет такой хитрой преграды, чтобы под нею не прополз кабцан, которому дали входной билет погреться у людей на солнышке. И не хочется еще потому, что нет никакой причины останавливаться на одном Гоголе, делать выписки из него и не делать выписок из его братьев по этой великодушной литературе. Чем он хуже их, и чем они лучше?

Веселая картина получится, если взять и на память, не выиски-

вая, не докапываясь, просто, как говорят репортеры, au hazard подсчитать ласку, что мы видели в разные времена от разных великанов русского художества. Для Пушкина понятие еврей тесно связано с понятием шпион (это в заметке о встрече с Кюхельбекером). В «Скупом рыцаре» выведен еврей-ростовщик, расписанный всеми красками низости, еврей, подстрекающий сына отравить папашу — а яд купить у другого еврейчика, аптекаря Товия. У Некрасова «жиды» на бирже уговаривают проворовавшегося русского купца: «нам вы продайте пай, деньги пошлите в Америку», а сам пусть бежит в Англию:

«На катере —

К насей финансовой матери.

И поживайте, как царр!»

Так говорили жиды —

Слог я исправил для ясности...

У Тургенева есть рассказ «Жид», неправдоподобный до наивности: читая, видишь ясно, что автор нигде ничего подобного не подсмотрел и не мог подсмотреть, а выдумал, как выдумывал сказки о призраках, — и *что* выдумал, и с каким чувством нарисовал и раскрасил! Старый жид, конечно, шпион, а кроме того, продает еще офицерам свою дочку. Зато дочь, конечно, красавица. Это понятно. Нельзя же совсем обездолжить несчастное племя. Надо ж ему хоть товар оставить, которым он мог бы торговать.

По Достоевскому — от жидов придет гибель России. Это, казалось бы, давало жидам известное право на внимание; однако ни одного цельного еврейского образа у Достоевского нет, насколько сейчас могу припомнить. Но если правда, что битый рад, когда бьют и соседа, то мы можем утешиться, припоминая польские типы Достоевского, особенно в «Карамазовых» и в «Игроке». «Полячок» — это обязательно нечто подлое, льстивое, трусливое, вместе с тем спесивое и наглое: и даже те затаенные в польской душе надежды, к которым самый заклятый враг должен отнестись с уважением, о которых сам Бюлов, защищая враждебный полякам закон, говорил недавно в рейхстаге с шапкой в руках, — коробит и вспоминать, какой желчной слюною облиты эти надежды разгромленного народа у тонкого, многострадального автора «Карамазовых».

Чехов? Еврейские критики ужасно любят цитировать из «Моей жизни» мимоходом оброненную фразу, что библиотека провинциального городишки пустовала бы, если бы не девушки «и молодые евреи».

Это глубоко трогает еврейских критиков, это им очень льстит, они в этом видят явную агитацию за беспроцентное допущение евреев к образованию. Добрый мы народ, и самая добрая наша черта, это — что и малым довольны... По существу же был Чехов наблюдатель, не ведавший ни жалости, ни гнева и не любивший ничего, кроме увядающей красоты «вишневого сада»; поэтому еврейские фигуры, изредка попадающиеся в «Степи», «Перекасти-поле», «Иванове», написаны с обычным для этого художника правдивым безразличием. И с таким же правдивым безразличием нарисовал Чехов своего Иванова, одного из несчетных Ивановых, составляющих фонд русской интеллигенции, и с таким же правдивым безразличием засвидетельствовал, что Иванов, когда в дурном настроении, вполне способен обругать свою крещеную жену жидавкой. Но Чехов сам был во многих отношениях Ивановым, русским интеллигентом до мозга костей, и случилось и ему однажды выругаться по адресу жидавки. Тогда он написал свою «Тину». Это анекдот еще более нелепый и неправдоподобный, чем тургеневский «Жид», настолько пошлый по сюжету, что и двух строк не хочется посвятить его передаче. Где это Чехову приснилось? Зачем это написалось? — Так. Прорвало Иванова, одного из несчетных Ивановых земли русской.

Кого еще назвать? Лескова? Н. Вагнера (Кот-Мурлыка)? Из одних имен можно было бы составить длинное стихотворение, как у того французского поэта:

Jeannette, Nine.

Alice, Aline,

Le'da, Julie —

Et j'en oublie...

Ничего в противовес этому списку не может назвать русская литература. Никогда ни один из ее крупных художников не поднял голоса в защиту правды, растоптанной на нашей спине. Даже в публицистике не на что указать, кроме одной статейки Щедрина и одной статейки Чичерина. В беллетристике нечем похвастать, кроме сладенького, нестерпимо-бездарного мачтетовского «Жида», да еще где-то за порогом художества красуется шедевр г. Чирикова. Те из нас, которые малым довольны, восторгаются еще «Судным днем» Короленко, ибо там доказано, что иной хохлацкий шинкарь еще прижимистее шинкаря-еврея. Лестно. Если за это полагается мерси, то у Лескова есть гораздо более обстоятельные рассказы на тему о том, что хотя жид и мошенник, но румын еще того хуже, а русский помещик, купец и мужичок тоже не

промах по части вороватости... Но ничего настоящего, ничего такого, что если не по силе, то хоть по настроению, по проникновению в еврейскую душу могло бы стать рядом с «Натаном Мудрым» или с Шейлоком, русская литература не дала. Да и зачем такие высокие образцы: рядом у поляков есть Элиза Ожешко, есть знаменитый Янкель из «Пана Тадеуша», написанный Мицкевичем в то самое время, когда Пушкин малевал своего жидка Соломона из «Скупого рыцаря»...

Не сомневаюсь: как всегда, найдется где-нибудь газетный пошляк, который во всем этом увидит ненависть к русской литературе. Если это случится, я возражать не буду — надоело спорить с пошляками, возиться с людьми внутренне недобросовестными, которые давно сами знают о своем банкротстве и еще все-таки зазывают бедную публику с ее нищенскими сбережениями к своему подгнившему прилавку. Между прочим, русскую литературу я очень ценю, включая и этого самого Гоголя, потому что литература должна быть прежде всего талантлива, и русская литература — далеко не в пример иным прочим отраслям русской национальной жизнедеятельности — этому условию удовлетворяет. Но вместе с тем надо помнить, что философию народа, его настоящую, коренную философию выражают не философы и публицисты, а художники, и в данном вопросе характер этой философии для всякого, кто не слеп и не глух, ясен без малейшей двусмысленности. Может быть, мало на свете народов, в душе которых таятся такие глубокие зародыши национальной исключительности. Мы проглядели, что родоначальная страница русской классической драмы — «Горе от ума» — насквозь пропитана обостренным националистическим чувством, до краев полна протестом во имя национальной самобытности, выходками против французско-нижегородской ассимиляции, проповедью «премудрого незнания иноземцев». Мы проглядели, что Пушкин в разгаре таланта написал потрясающее по энергии и силе стихотворение «Клеветникам России», где трепещет подлинный нерв того настроения, которое в Англии теперь называют джингоизмом. Мы проглядели, что в пресловутом, и нас захватившем культе «святой и чистой» русской интеллигенции, которая-де лучше всех заграничных и супротив которой немцы и французы просто мещане, — что во всем этом славословии о себе самих, решительно вздорном и курьезном, гулко звучала нота национального самообожания. И когда началось освободительное движение и со всех трибун понеслась декламация о том, что «мы» обгоним Европу, что Франция реакционна, Америка буржуазна, Англия аристократична,

а вот именно «мы», во всеоружии нашей неграмотности, призваны утешить им нос и показать настоящее политическое зодчество, — наша близорукость и тут оплошала, мы и тут не поняли, что пред нами взрыв непомерно вздутого национального самолюбия, туманящий глаза, мешающий школьникам учиться уму-разуму у Европы, у Америки, у Австралии, у Японии, у всех, потому что все их обогнали.

Я говорю только о зародышах. Они еще надолго останутся зародышами. Несмотря на все призывы Струве, великорусскому национализму еще некуда и не во что развиваться, кроме как по черносотенной тропинке, по которой серьезная часть интеллигенции, должно быть, не пойдет. В национальном смысле у великоросса ни в чем нет недостатка, а напротив — в колоссальных доходах, которые приносит ему его национальная культура, большую роль играют инородческие подати, особенно еврейская. Кто сочтет, в какой мере хотя бы нынешние модные книгоиздательства обязаны своим ростом руссифицированному инородческому потребителю, и в первую очередь еврей? Русскому национализму не за что бороться — никто русского поля не занял, а напротив: русская культура, бессознательно опираясь на казенное насилие, расположилась на чужих полях и пьет их материальные и нравственные соки. Для развития зародышей нет еще почвы, и она явится только в тот момент, когда среди народностей России подымется национальное движение всерьез, и борьба против руссификации проявится не на словах, как теперь, а в фактическом разрыве с великорусскою культурой. Мы тогда увидим, кто наши могучие соседи и есть ли у них национальная струнка, и тогда, может быть, лучше поймём некоторые забытые страницы из Некрасова, Пушкина и Гоголя.

V. НА РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ

Случайно ли религиозная тема во всем своем многообразии оттенков стала предметом обсуждения не только специальных церковных, но и элитарных, и даже массовых изданий в начале 20 века?

В конце 19-го - начале 20 века Россия мощно заявила о себе как страна, вступившая в эпоху капитализма. Темпы роста производства и прибыли от его функционирования вывели страну в ранг лидирующих в мире держав. Новые веяния активно проникали в общество. Идеи предпринимательства как накопительства, как единственного смысла суще-

ствования определенных сословий раньше не были типичны для российского быта. Они всегда блокировались православным аскетизмом, пониманием накопительства и богатства как греховности. С приходом капитализма стали широко внедряться новые идеологии, особенно протестантского толка, не осуждавшие личность, достигшую успеха, богатства греховным путем.

С другой стороны, смену идеологических доктрин в России подготавливало и само положение в стране. На каком-то этапе стало ясно, что государственная религия - православие - приобретает черты тоталитаризма, оказывая влияние буквально на все области светской жизни - от управления государством, строительства железных дорог, переустройства армии и флота до частной жизни личности. Такое положение церкви было, возможно, необходимо в период собирания и обустройства национального государства. В период его мощного расцвета такое положение церкви не могло сохраниться.

И чем сильнее государство и церковь сопротивлялись изменению статуса религии в стране, тем сильнее проявлялось инакомыслие. Именно на рубеже веков заявили о себе секты духоборов, молокан, толстовцев, «хлыстов», различные теософские общества, мистические школы... Разумеется, пресса не могла стоять в стороне от обсуждения роли новых духовных течений в обществе.

Поскольку дореволюционная пресса в России носила сословный характер, ориентируясь на ценностные установки своего читателя, постольку и толкование проблемы носило характер сословный.

Автор элитарного просветительского издания «Вестник Европы» В. Соловьев в статье «Русская идея» размышлял о роли религиозного мирозерцания в жизни нации. Он убедительно доказывал, что в Новом завете, в отличие от Старого, нет упоминаний о какой-либо нации. «Смысл существования наций лежит не в них самих, а в человечестве», - утверждал он. Русская идея - это идея сохранения православия. Он, сожалея, что мир разделен по конфессиям, призывал участвовать в жизни Вселенской церкви, развитии всемирной христианской цивилизации.

В. Соловьев негативно относился к ежедневной прессе, включившейся на рубеже веков в формирование общественного самосознания, ценностных ориентиров и идеалов. Он писал: «Фальсифицированный продукт, называемый общественным мнением, фабрикуемый и продаваемый по дешевой цене оппортунистической прессой, еще не задушил у нас национальной совести, которая сумеет найти более достоверные выражения для истинной русской идеи».

Русскому религиозному мирозерцанию посвятил огромное количество статей В. В. Розанов. Большинство из них было опубликовано в издании, «промежуточном» между элитарным и массовым, - в газете «качественного типа» «Новое время». С мнением этого издания считались широкие читательские круги - от министра до предпринимателя

средней руки. Читательское назначение статей Розанова столь же разнпланово. Это циклы статей: «По тихим обителям», «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира», «Русские могилы» и др. Много путешествуя и публикуя путевые очерки, Розанов в итальянских очерках рассуждал о своем восприятии католичества, в германских - о протестантизме...

Нередко отправной точкой в написании статей являлись письма адресованные В. Розанову. Читательские отклики (ст. «Святость и смерть», «Случай в деревне») нередко говорили о том, что публика испытывает интерес к другим религиям, пытаясь оценить достоинства и «недостатки» своего исповедания в сравнении с другим.

В этом смысле представляет интерес версия Розанова о том, почему Минин и Пожарский, освободившие Русь от иноземных захватчиков, не стали святыми - они сделали дело, посильное обыкновенному человеку. У русских много святых людей, отрেকшихся от мирской суеты, живущих только по праведным законам; это - подвиг... А у немцев-лютеран подобного нет, ибо... «по вере вашей дается вам...»

Современное положение религии в обществе оценивалось Петром Струве, редактором журнала кадетов «Русская мысль», как трагическое. Он считал, что на смену христианской идеологии в начале XX века должна придти социалистическая идеология и атеизм.

Другой автор журнала «Русская мысль» — Н. А. Бердяев пытался осмыслить особенности и характерные черты русского менталитета. Святость в жизни русских - недостижимый, но идеал, заслуживающий безусловного почитания, в отличии от западного идеала - честности, идеала, вполне достижимого любым человеком. По русским понятиям, «честность» - это гордость, а «гордость» - уже смертный грех. Относясь к деньгам, богатствам без скрупулезной «честности», «душа русского человека никогда не поклонялась золотому тельцу, и верю, никогда ему не поклонится», - писал Бердяев в статье «О святости и честности». Он сожалел, что любя Россию, русский человек не чувствует ответственности за нее. Первая мировая война пробудила хищнические инстинкты, жажду наживы на войне. «Среднему русскому человеку, будь он землевладелец или торговец, не достает гражданской честности и чести. Свободные граждане не могут спекулировать, утаивать продукты первой необходимости и т.п. во время испытания духовных и материальных сил России»(ст. «О святости и честности»). Н. А. Бердяев надеялся, что наступит момент, когда для русского человека тождественны будут

понятия «святость» и «честность», что наступит время, когда «инстинкты творческие победят инстинкты хищнические».

Задача эта осталась актуальной и для России посткоммунистической.

В.В. РОЗАНОВ

СЛУЧАЙ В ДЕРЕВНЕ

*Сегодня - случай, вчера - случай;
так уж выходит не случай, а закон.
Из житейских разговоров.*

I

О случае этом было написано в газетах. Один «фанатик», размышляя о спасении души своей, сжег себя живым, он «из борисовских поселян Екатеринославского уезда, старик 52 года», Авксентий Данилов Бабенко... Вообразив себя великим грешником, Бабенко решил «ИСКУПИТЬ свои ГРЕХИ жертвою и для этого решил предать самого себя сожжению». «Забравшись, - рассказывает далее хроникер, - к себе на двор, он вкопал в землю большой столб, обложил его со всех сторон сухим хворостом и соломой, а затем привязал себя к этому столбу и зажег свободною рукою хворост. Огонь запылал, и через несколько минут яркое пламя охватило этот жертвенник, на котором корчился в судорогах несчастный. Семейство Бабенко, заметив огонь, выбежало на двор, но было уже поздно. Ветки, которыми был обвязан безумный, перегорели, а сам он, весь обгорелый, с обуглившимися ногами, лежал и жарился в догорающем хворосте. Тотчас же была извещена полиция. Бабенко был отвезен в больницу, где и скончался в ужасных мучениях». На вопросы о причине, побудившей его на этот ужасный поступок, он «прошептал, что хотел *искупить* свои *большие грехи*». Больше он не мог говорить. «Бабенко страдал, очевидно, помешательством на религиозной почве и, как почти всегда у нас в провинции, оставался на полной свободе».

Это - мнение и освещение хроникера: «нам некогда! Дальше!» Но

можно задуматься, позволительно задуматься» вослед «хронике» и дальше. Ведь писали же чуть не год о «Мультановском жертвоприношении» у вотяков, и не находили ни неуместным, ни несвоевременным. А тут русское дело и русская кровь.

Я люблю собирать «случаи» из жизни, и кое-кто из моих добрых друзей, зная мою страсть к коллекционированию «раритетов», прислал года два тому назад вырезку из одной казанской газеты. В вырезке говорилось об одном, на этот раз образованном, молодом человеке, который, «вдавшись в религиозные размышления, заснул однажды - и вот в сонном видении ему явился Иисус Христос». Объятый необыкновенным восторгом, пламенным восторгом, пламенный юноша - все во сне - спросил: «Господи, что мог бы я отдать тебе?» - «Отдай очи», - ответил Христос. Видение исчезло. Юноша проснулся. Он затеплил лампаду и наставил глаз на огонь. Глаз вытек. Юноша был найден окровавленный, но живой - и рассказал то, что он видел и как поступил.

...Единичное и личное заблуждение? Но вот нечто из психологии толпы. «Одесский Окружной суд препроводил в Одесскую духовную семинарию через духовную консисторию вещественные доказательства и документы, найденные при раскопках в терновских плавнях, где, как известно, несколько фанатических раскольников были заживо погребены Федором Ковалевым и его участницею, инокиней Виталией. Между этими вещественными доказательствами обращает на себя особенное внимание бездна металлических раскольнических икон с изображением Иисуса Христа, Божией матери и святых. Есть также пятиарусный складной иконостас, несколько камивалок, мантий и очень много старопечатных книг, как, например, ПРОЛОГ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ, ПОТРЕБНИК, ПСАЛТИРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ, УЛОЖЕНИЕ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА, много рукописных тетрадок духовного содержания, железные ВЕРИГИ, и пр.» Нужно заметить, что все эти «старопечатные книги» стали «старопечатными» всего двести лет и были «новопечатными», новенькими и действенными *шестьсот лет*: т.е. в данной «психологии толпы» мы имеем как бы воскресший или, пожалуй, не окончательно замерший дух ШЕСТИСОТЛЕТНЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, который покрыт сравнительно тоненько пленкой двухсотлетних «новшеств». Покрыт ею, но под нею НЕ УМЕР. У меня лежат на столе три тома превосходного издания: «Русские древности в памятниках искусства», издаваемые гр. И. И. Толстым и Н. П. Кондаковым. И вот, редкий день нет-нет я и разверну страницу 135 выпуска 6-го («Па-

мятники Владимира, Новгорода и Пскова)), где на фигуре 159 представлены фрески Спасо-Нередицкой церкви, построенной Ярославом Мудрым и тогда же расписанной, а в настоящее время не посещаемой и заколоченной за ветхостью. Фрески изображают четыре фигуры и лица: Св. Григория, Василия, Иеваноса. - четвертое лицо в книге не названо, я же сам не в силах разобрать около него надпись имени. Я - романист в сердце и чуть-чуть психолог. Что же меня все возвращает и возвращает к древней живописи? Такого *беспросветного* мрака, невыразимой *скорби*, такой бесконечной силы *осуждения*... миру, себе - я не читал ни в поэмах, ни в сатирах, ни у еврейских пророков, как на этих фресках! Ювенал, Тацит - сущие мальчишки перед этими. Они - тщеславные мальчишки, судившие мир и довольные собою, несколько напоминавшие Чацкого. Дант... но и Дант, очевидно, считал себя правым, себя и свою Беатриче, «святую Беатриче». У этих четырех фигур *нет прощенных*, и глубь скорби, прежде всего, пала в их сердце, в собственное «я». «Все будем гореть, но Я первый». Это - паника. Паника заразительна, паника - мистицизм. Все испуганы и все бежим. Чего? кого? Напрасный вопрос, напрасна надежда услышать ответ. Но от этих четырех фресок есть бесспорная и непрерывная нить как до фанатиков, закопавшихся в Азовских плавнях, так и до казанского юноши.

Вы скажете - «случай живописи»... Ну, послушайте: «случай» да «случай», но почему же мне вас, возражающего, принять не за «случай», и, напротив, тех - за закон, но которого вы, как случайное исключение, просто не понимаете? Есть Захарьин и есть лекари, лекаришки: конечно, лекаришек много, а Захарьин - один на много лет, и на целый век 5 - 6 Захарьиных. Однако, очевидно, наука медицины вопрошается в шести вековых «Захарьиных», а вовсе не в 60 тысячах ежегодных докторишек. В этих фресках, в том казанском юноше, в приазовских староверах выразились, во всяком случае, некоторые специалисты, которые БЕЗ РАССЕЙЯНИЯ думали о том самом, о чем и мы думаем, но рассеянно, занятые литературой, политикой и проч. У нас - плевелы: мы - дорога, на которую пало зерно и расклевано птицами: тогда как душа тех есть, очевидно, тучная, рыхлая земля, и мы качество зерна собственно и можем наблюдать только на той рыхлой почве, «специальной, уготованной». Знаем ли мы христианство? Понимаем ли его? Вот к чему я хочу свести эти наблюдения.

II

Несколько времени тому назад вышла, в течение одного года четвертым изданием, книжка священника Петрова «Евангелие КАК ОСНОВА ЖИЗНИ». Его первое издание произвело на меня впечатление, и я написал по ее поводу статью «Религия КАК СВЕТ И РАДОСТЬ». Я давно заинтересован, от КАКОГО собственно «сатаны» должен отрекаться младенец при крещении? То есть меня берет сомнение не о БЫТИИ сатаны, а о том, КУДА мы должны относить «сатанинское лицо» в эту минуту, - вопрос не только не разъясненный, но, кажется, никогда и не поднимавшийся. Между тем, для всякого христианина более чем понятна необходимость знать конкретно и определенно местопребывание главного и даже единственного врага своего, чтобы знать, ГДЕ и с КЕМ, и КАК бороться. Мы знаем «сатану» слишком обще как «грех» и «искушение»; но в данную минуту, то есть при крещении новорожденного, сатана так конкретно называется, что это есть единственный пункт, с которого мы можем начать конкретные, а не обобщенные и, следовательно, неопределенные его поиски. О вопросе этом я многих спрашивал, и вот, один уже престарелый и многоопытный человек; духовного образования, ответил мне: «Младенец отрекается от ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА». Сейчас я ему не нашелся что сказать, но назавтра сказал, что первородный грех снят с человека крестною смертью Спасителя и что в этом весь смысл христианства, о котором мы забыли вчера, беседуя с ним. Мы, конечно, - «докторишки», а не Захарьины, и оттого могли забыть такую вещь. Но что, во всяком случае, в данную минуту и в данном таинстве называется «сатаною» не первородный грех, а что-то другое - об этом не могло быть спора после моего указания; и, придравшись к книжке священника Петрова, я написал статью с несколько специальной целью доказать, что вот уже 1900 лет как первородного греха не существует, и, следовательно, - что особенно мне нужно было в моих целях - младенец отрекается при крещении, с именем «сатанинским», не от согрешения Адама и Евы, а *от чего-то другого*.

«Прости, небо, прости, земля, прости, солнце, прости, луна, простите, звезды, простите, озера, реки и горы, простите, *Все стихии небесные и земные...*», - так «прощаются», разлучаются с светлым миром неопиты скопчества, вновь приведенные к этому учению послушники, перед тем, как подвергнуться известной операции. «Прощание» это про-

исходит в торжественном собрании скопческого «корабля», и выслушивают его те, кто уже «простились» с солнцем, луной, землей и ВСЕМИ СТИХИЯМИ через потерю собственно одних детородных удов. Какая глубина сознания их значения: с НИМИ расстаться - со ВСЕМ МИРОМ расстаться! от них ОТДЕЛИТЬСЯ - от всего мира ОТДЕЛИТЬСЯ! Здесь, кажется, только одного шага не достает, чтобы эти самые скопцы, т.е. тогда же уже «бывшие» скопцы, воскликнули «осанна!» в сторону этих двух «удов», которые, по их сознанию, трансцендентно несут в себе солнце, луну и звезды, землю и небо, и все стихии Космоса... Но пока что, до этого недостающего шага, какой пессимизм в этом «прощении»!.. О, что Шопенгауэр! Как и Ювенал с Тацитом, он со своим пессимизмом опять же есть мальчишка и щенок перед этим мировым прощанием наших сектантов-скопцов и хлыстов. «Прощай, мать сыра-земля! прощай - мир». Да, русские мужики глубоко плавают, и, во всяком случае, в вере они суть или нередко бывают Захарьины. Но я здесь не о них говорю, а о том, что новооскопляемый, отрекаясь от мира, восклицает нечто сливающееся с отречением и всякого младенца при крещении. Когда уже оскопление окончилось, то из старичков кто-нибудь, подняв с полу отрезанный детородный орган и показывая его «счастливому» новооскопленному члену, говорит: «Вот - ЖАЛО сатаны: ты вырвал его из себя.» По всем этим подробностям совершенно очевидно, что в таинстве крещения проведена великая (по объему и значимости, НЕ по святости) мысль скопчества: что как и скопический «корабль», церковь не ранее принимает в свое лоно младенца, чем он или от его имени («восприемники от купели») произнесет некоторое «прощание» же с «солнцем, луною, и всеми стихиями земными» через отрезание детородных удов, но не своих, а РОДИТЕЛЬСКИХ, ОТ КОТОРЫХ ОН ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОИЗОШЕЛ. В самом деле, Символ веры над крещаемым и произносится сейчас вслед за тем, как он «отрекся от Сатаны». РОДИТЕЛИ при крещении своего младенца не могут присутствовать, ОНИ ОДНИ не могут: знакомые, друзья, соседи - присутствуют. Сами акты, введенные в обряд крещения, эти акты ОТВРАЩЕНИЯ ОТ ЧЕГО-ТО ЗРИТЕЛЬНО ГАДКОГО И МЕРЗКОГО («дунь!» и «плюнь!» в трехкратном повторении) указывают на мысль или воображение Церкви, обращенные в эту минуту к чему-то гадкому по всеобщему ощущению. Это - тот акт совокупления родителей младенца, через который он был зачат. «Ты больше не будешь рождать», - говорят скопцы вновь принимаемому: «плюнь и отрекись от своего рождения», от «своих родителей».

- говорит Церковь вновь крещаемому. В обоих случаях: «рождение - от Сатаны: ибо его нет без похоти, а похоть - от Сатаны». «Лицо Дьявала» становится совершенно ясно, читаемо для нас в церковном учении: это - вся деторождающая система. весь очерк детородных сил, качеств, форм, движений, органов, пожеланий, вожделений». «Область дьявола» - ниже пояса, как «область духа», »бога» - выше его. Вот разделение, метафизика, космология христианства. Отсюда - монашество как идеал христианский; и напротив - семья, родители, братья и сестры, супружеская спальня и детская комнатка, игры ребенка и песня матери над дитятею, труд отца для прокормления детей и, наконец, эти «грешные животные», которые только едят и множатся, - все, все это есть «область Сатаны», чертеж дьявола, узор его возле человека, только, по-видимому, сладкий и прекрасный, ибо он предназначен уловлять падшего человека в свои петли.

Не пытаюсь спорить с Церковью, я спрошу только: каким образом ОНА же, эта самая Церковь, в другом своем «таинстве» или якобы таинстве, браке, этот «сатанинский» акт соития именуется уже «святым соединением» и «благословляет» на него молодых людей?!! К чему это? Что это? Где правда и истинное ее учение? Где настоящий ее взгляд на область ниже пояса, в крещении ли, где все это проклинается («дунь и плюнь») как сатанинское дело, или в браке, где все это благословляется как «исполнение Заповеди Божией».

Несомненно, что крещение есть более основное таинство христианства, - таинство новое, «новозаветное». А как Заповедь Божия, припоминаемая в венчании, тоже несомненна - то совершенно бесспорно, что во внутреннем своем сознании Церковь именуется «Сатанинским» Божеское лицо и указывает на Бога как на главного врача своего, от которого и предостерегает человек («не множься», монашество).

Но это, в своей невыразимой путанице, в которой запуталась Новозаветная Церковь, противопоставив себе Ветхозаветной Церкви, содержит в себе для «верующих» такие глубины скорби, печали, уныния, что... что фрески новгородской церкви, поступок казанского юноши, приазовские староверы получают для себя фундамент.

Вот о чем священник Петров мог бы написать новую любопытную книжку. Он преподаватель богословия в высшем учебном заведении, ему и «книги в руки». Мне кажется, и я для этого и пишу настоящую статью, что все мы, занимаясь религиозными вопросами и сочиняя религиозные книжки и религиозные статьи, - «мелко плаваем», и

даже попросту - занимаемся пустяками. Уж если мы не знаем, есть ли христианство мировой ПЕССИМИЗМ или мировой ОПТИМИЗМ, если возможен о такой ОСНОВНОЙ вещи спор, то, конечно, - мы ничего не знаем в нем, не знаем его основного смысла; а без этого, конечно, не знаем вовсе и «пути спасения». Но если МЫ не знаем, - профессора, писатели, то что же нам спрашивать и за что судить и осуждать... хотя бы приазовских старовсеров. Мы их не научили; но это - с полбеды; мы их НЕ МОЖЕМ НАУЧИТЬ, мы САМИ НЕ ЗНАЕМ, и не знают БОГОСЛОВЫ, наставники, как священник Петров, - и вот это есть или тут начинается беда.

III

Но неужели же священник Петров так-таки ничего не знает в христианстве? Скажем ему в оправдание: не один - он. Много лет назад я прочел необыкновенно увлекшую меня книжку: «Катакомбы» Евгении Тур. И вот, я помню в этих «Катакомбах» разговор знатной, изнеженной и жесткой римлянки с ее невольницей, тайной христианкой, которая почти «для примера» набрасывает ей очерки евангельского учения. Римлянка причинила рабыне какую-то боль, кажется бросила в нее кинжалом и ранила, а та не рассердилась. Римлянка спрашивает: почему она не рассердилась? - «Потому что я верую в Иисуса». - «Чему же учил Он?» - «Любить врагов своих». - «Любить врагов?» ... и римлянка задумалась. - «Да, это истинно НОВОЕ и непонятное; любить друзей - да; любить родителей - да; любить безразличных, незнакомых - ну, так и этак; но ВРАГОВ любить - непонятно, невозможно, неслыханно!...» Новизна и высота учения поразила и привлекла ее. Она стала христианкою, перейдя в полноту любви из мелкой языческой любви, в высоту веры из несовершенной веры, в сверхъестественную религию из естественной. Ставим точку. Ошибалась ли Евгения Тур, рисуя себе так в перспективе перелом от язычества к христианству? Если и ошибалась, то МЫ все с нею ошибаемся. Мы ВСЕ так думаем, и нам, как и свящ. Петрову, ВСЕМ представляется христианство как высшая любовь, «свет и радость», не иначе. Свящ. Петров привычною рукою начертил привычный образ; его книжка получает огромный успех; местами, в повременных изданиях почти целиком перепечатывается, потому что он с нами, и за него - мы все. Мы так думали 1900 лет; мы... «докторишки».

- «Прощайте, звезды», «прощай - земля»; «прощайте, стихии небесные и земные», «отрекись от сатаны». - Уж если «жало сатаны» и «родительство» - ОДНО и ТО ЖЕ, то какой же СВЕТО? ЛЮБОВЬ? РАДОСТЬ? - «О, хоть бы умереть!»

Кто же ошибается? Не ошибаются покаяники. Есть мнение, что «никто не приходил с того света и не принесли нам по-ту-светной истины». Нет - есть вестники, есть по-ту-светные вести. Разве МОЩИ не говорят? По крайней мере - нечто, и именно ровно столько, сколько нам нужно узнать. Они почтили и благоухают. Они святы и творят чудеса. Вот уж кому не причастно «жало Сатаны», и, выйдя из круга рождений они стали святы. Есть в них душа? Этого никто не утверждает. Есть в них жизнь? Думают это еще менее. Что же в них есть? Память, останки. Никто не сомневается, что мощи есть собственное ТЕЛО, телесные останки, без всякой решительно ДУШЕВНОСТИ, ДУХОВНОСТИ; и вот БЕЗЖИЗНЕННЫЕ останки - они СВЯТЫ. Так вот что значит «святость» - УМЕРЕТЬ! Да, Тур, очевидно, ничего не понимала, как, впрочем, и весь мир, мы все, свящ. Петров. Умереть - и значит достигнуть святости. А что это не эпизод, не частность религии, видно из молитв над умирающими и об умершем. Уже взрослым я видел одно соборование умирающего (кстати - оправившегося): я не мог не плакать, какое это чудо слов, живопись напевов! Тянул дьячок, подтягивал священник, и однако, нельзя было не плакать. Кто изобрел эти напевы? Клянусь, я ни от какой музыки не заплачу и ни от какого певца. - но тут какие-то по-ту-светные зовы музыки, откровенных напевов. Похоронные слова и звуки мы знаем же.

Так вот СУТЬ, выпавшая вовсе из памяти свящ. Петрова и Евг. Тур. Похороны - св. мощи в музыке, начало мошей, святость и святое воспевание смерти! Под таким углом зрения христианство есть мистическая песнь переходу из земного жития, всегда и непременно грешного, в «вечную жизнь» - там. Хорошая религия? Конечно, - но не отрицайте же, что есть величайший пессимизм и глубочайшее отрицание земли и земного, стихий планетных, лунных, солнечных, но в основе всего - родительских, рождающих. Перед мистицизмом похорон что значит «Исаия - ликуй!» или «жена да боится своего мужа», наиболее музыкальные и выразительные места венчания? Вот уж рационализм, вот краткословие и грубословие, т.е. не в смысле, а в музыке. Музыкант, с такой дивною прилежностью сложивший напевы: «иде же несть печаль и въздыханис, но жизнь - бесконечная», отмахнулся от брачующ-

щихся:»Э - пусть вам диакон проорет: жена да боится своего мужа». Очевидно - религия ТАМ, В МОГИЛЕ; здесь же, где начинается, где будет, через детей и рождение, убегание от могилы, - есть только впадение в грех, вступление в океан «жала сатанинского». Сатана - жизнь, Бог - смерть.

Но тогда за что же мы судим приазовских староверов? Святые - они; мы, их судящие - грешники. Трижды и трижды свящ. Петров ничего не понимает в христианстве, и мы все, Евг. Тур, никто. Обратимся к Евангелию. - «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные - и Аз успокою вас». Тогда, с точки зрения смерти, тут есть: «УМРИТЕ - И ВЫ УСПОКОИТЕСЬ». Но ведь мы всегда читали эти слова в том смысле, что «облегчение» и «успокоение» будет дано еще в этой жизни; и значит - просто мы не умеем читать Евангелие, догадываться о настоящем смысле слов Спасителя. Да и действительно, если обратить внимание на судьбу «труждающихся» и «обремененных» в христианском мире, то ведь в чем же собственно, выразилось «успокоение» их? В исповедании? Но они не столько были грешны, сколько несчастны, задавлены; и, действительно, для задавленности их какое же, где и когда находилось в нашей цивилизации «успокоение»? Никакого и никогда. Просто нет для этого средств, способов, методов, и например, нет даже в Церкви. - «Я обременен и скорблю». - «Покаяться хотите?» - «Да нет, я обременен детьми и нуждой». - «Бог подаст». Таким образом, очевидно, «успокоение» значит именно смерть, выход из круга рождений; но ведь, внимая словам этим, рыдая им ответно, «обремененные и труждающиеся» именно думали, что тут - скорбь О НИХ и ЗА НИХ, готовность ПОМОЧЬ, СДЕЛАТЬ, ОБЕГЧИТЬ их СЕЙЧАС, ЗДЕСЬ, В СЕМ ВИДЕ ТЛЕННОМ, а не то чтобы «на том свете», а пока вот - «умереть». Qui pro qui... (путанница, с лат.)

IV

Тезей условился со своим отцом, Эгеем, что если он победит на Крите Минотавра и останется жив, то, возвращаясь, вывесит на корабле белый флаг. Отец уже старец, все выходил на берег моря и смотрел вдаль. Но на радостях победы Тезей забыл сделать перемену, и когда подплыл к берегу Аттики, то старец увидел на знакомом государственном корабле обычный черный флаг - траур по жертвам, отправленным в лабиринт. С нами случилось нечто обратное. Там было избавление - но

остался флаг смерти; у христиан, напротив, в очах брезжит что-то бесконечно счастливое, небесно примиряющее, окончательное, самое светлое, от чего дух занимается: но НА САМОМ ДЕЛЕ - это только издали так, на первый взгляд, а диагноз Захарьиных, углубление специалистов, почва без плевел и расклевывающих зерно птиц - констатирует ГРОБ. Просто - ГРОБ. КТО же ошибается? Ведь, право, можно закричать, а не только написать, «кто ошибается» и, отчего мы ВСЕ ничего не знаем в том, что нам важнее всего и первее всего нужно знать? И что за колпаки, которые учительствовали над нами до сих пор! «Любовь», «примирение с Богом», «снятие первородного греха», «религия как свет и радость». Христианство смотрит на жизнь как на бесконечную необоримую скорбь и непрерывный неодолимый грех. Что может быть печальнее? - Ничего. - Что такое Жизнь? - Плач и рыдания и ничего более. - Нужно ли трудиться? - Да, сколько птицам небесным: сегодня сыты, завтра сыты, а послезавтра - умрем. Здесь опять «взгляните на птицы небесные, на лилии полевые» обозначает просто, что «вы скоропостижны к смерти и вот умрете, как птицы и цветы-поденки», так что нечего и «печься на утре», а не то чтобы там «попорхать» и «расцвести». Ничего подобного. Плакучая ива - вот подобие и образец для человека. Опустит ветви свои в воду и - плачь, плачь...

Но, повторяю, тогда для чего же БЕЛЫЙ ФЛАГ? Можно с ума сойти от недоразумения. Я могу не иметь совершенной правды в поступках своих, в отношениях к людям, но не иметь совершенной правды В СВЯТАЯ СВЯТЫХ СВОЕЙ ДУШИ? Это было бы ужасно!

Но может быть, это ошибка веков и только односторонность развития Церкви? Не думаю. Ведь и «века» ошиблись же ПОЧЕМУ-НИБУДЬ и «преткнулись» ногою о КАКОЙ НИБУДЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЕЖАВШИЙ на пути их «камень». Без «камня» не бывает «претканий». Проходя по залам Эрмитажа, в отделах живописи XV - XVI веков, я был поражен чрезвычайно множеством и чрезвычайною красотой картин на тему, которую можно бы объединить в названии: «Младенчество Иисуса Христа». Вот - «Бегство в Египет» и его варианты; вот встреча Елизаветы и св. Девы; и «св. Семейство» без конца, т.е. в бесконечных повторениях. Тут все так чудно: Младенежц, Мать. Так необходим этот старец Иосиф, о! бесконечно необходим, ведь старость равно прекрасна и равно тождественна младенчеству, ведь это возврат человека в младенчество, но в младенчество какое-то умудренное. Старец - дитя же, но в по-ту-стороннем обращении, как дитя есть старец в посюсто-

роннем обращении. Мне думается, что, умерев, мы выпархиваем в «бу-душую жизнь» малютками, и признаки старости, белые седины, уменьшение объема тела, даже беззубость, суть именно приближение к младенчеству, к выпархиванию «туда». Мы «туда» рождаемся, и рождение «туда» есть смерть, которая для родных умирающего представляется чем-то болезненным и страшным, как и корчи рождающей женщины, как сокращения ее утробы. Это моя фантазия, не имеющая никаких, впрочем, оснований. Бросим ее, и обратимся к живописи в Эрмитаже. Как хороши эти «Волхвы с Востока»; они необходимы, как и Иосиф, ибо Восток вечно и весь ожидал Спасителя. «Звезда», ведущая их, мстами перенесена на чело Богоматери или в «корону» ее. Но ведь что же такое все это, как не могучая иллюзия («ивы»), которая хочет поднять плачущие ветви от воды, и за два века, XV и XVI, сумела это сделать? Где это живописцы прочли о «короне» у Матери? Не в Евангелии! Увы, они так мало «читали» его, что Спаситель (что, кажется никем, еще не замечено) везде представлен на этих картинах не обрезанным, т.е. они просто не вспомнили, забыли, у них выпал из памяти праздник «обрезания Господня», седьмой день после Рождества Христова. Что же они, бедные, рисовали? Просто - МАТЕРИНСТВО и МЛАДЕНЧЕСТВО, но ОКОРОНОВАННОЕ, в ЗВЕЗДАХ, в ПРОСЛАВЛЕНИИ «волхвов восточных», Сил Небесных, поющих чудесными гласами, и опять столь необходимых пастухов и их стад: т.е., в сущности, в окружении тех «стихий небесных и земных», от которых отрекаются наши сектанты! Художники Renaissance'a не вспомнили об «обрезании Господнем», а сектант - все помнит, он - бесконечно внимателен. В смысле «начитанности в книгах», уж конечно, это он - Захарьин, а те живописцы были так себе, жалкие дилетанты. Знаете ли вы, что буря Лютера и особенно Кальвина, так замявшая и изорвавшая «паруса» Renaissance'a, была, в сущности, чуть-чуть скопическая же, т.е. по сути своей, по главной-то своей основе. «Простите, стихии земные», или что то же: «Dies irae, dies illa - veniet». Нужно читать подробности биографии Лютера, чтобы видеть, до чего, подобно нашим «ищущим пути спасения» сектантам, он исхудал, истомился, был на краю отчаяния, и его вывел на путь «веры», в «веру без добрых дел» - просто разговор с престарелым августинским монахом. - «Да что ты мучишься, Мартин! Ну, наши подвиги ничтожны, грехи не искупимы; но кровь-то, кровь-то Спасителя, ведь ее одной капли достаточно, чтобы очитстить от греха миры». И Мартин воскрес: он уперся лбом или, точнее, подобно ласточке в душной ком-

нате, он вырвался в форточку этих удачно сказанных, но совершенно случайных слов и полетел в бесконечность. Но мы не пишем его истории, а указываем на простой факт, что, едва этот реформатор стал прилежнее читать «книги», как смел все эти «Святые Семейства» и «Бегства Иосифа и Марии в Египет» и «Святые Ночи» Корреджио в сторону, как красочную мазню, которая никакого отношения к «спасению души» не имеет. Между тем, если мы войдем к самому благочестивому человеку, ну - войдем к столь любящему живопись С. А. Ратчинскому в кабинет, - он покажет нам чудные снимки с картин Рафаэля, Корреджио, Леонардо, Мурильо, всех их заноса в «хор певчих Святой Церкви», всех их объясняя в силе и красоте из «религиозного вдохновения», - и вот, судя по сюжетам - очевидно, именно из вдохновения христианством. Опять - белый флаг и черный гроб: ибо кто же «вдохновляется христианством», художники ли эти, едва заглядывавшие в Евангелие, или Кальвин, Лютер или Саванаролла, считавшие всю эту живопись «жалом сатанинским», «обольщением диавола», совершенно аналогично скопцам, возгласившим борьбу против «ЛЕПОТЫ мира», т.е. против КРАСОТЫ, ИЗЯЩЕСТВА, против ПРАЗДНИЧНЫХ одежд мира? Рачинский был бы чрезвычайно поражен мыслью, что он совершенно не понимает христианства, но что делать - именно ТАК. Ф. И. Буслаев нам читал в Московском университете о староцерковной словесности и параллельно как ее разъяснение - о византийской живописи. Из слов его точно помню указание, что между прилепленностью человеческого воображения к Божией Матери и к Иисусу Христу всегда шла борьба, и именно в том смысле, что Человек искал утешения, облегчения, хоть какого-нибудь света в Божией Матери. Кстати, не отсюда ли столь любимое у нас наименование икон: «Скорбящая», «Всех скорбящих - Радости», и проч., тоже «Заступница». Буслаев прямо указывал, что в Божией Матери Человек искал защиты, своего рода исторического »заступи и помилуй» ОТ ВСЕГДА ПУГАЮЩЕГО СТРОГОСТЬЮ И СУРОВОСТЬЮ ЛИКА СПАСА. И вот, - договаривал нам профессор, - в наиболее строгие эпохи истории Лик Божией Матери отступал, а на первое место почти испуганного воображения выступал Иисус Христос, - и тут-то он говорил о его византийских изображениях. Все знают, что немного лет назад картину Ге, изображавшую «неблагообразно» распятие Спасителя, запретили показывать в Петербурге, но многие ли знают, что в строжайшие византийские эпохи было именно запрещено, как бесстыдство, изображать Иисуса Христа благообразным, и Он рисовался трупным, опух-

шим, искривленным, иногда посиневшим, и непременно, непременно безобразным! Так нам читал Буслаев. Теперь я этим прямо соединяю чтение «Двенадцати Евангелий» в великий четверток: вот - торжество и мысль христианства! Выслушав эти «Двенадцать Евангелий», не пойдешь в Эрмитаж. Просто - не захочешь, САМ не захочешь. Прав Лютер; не правы мы. Правы Ге и византинисты, и вовсе, вовсе не правы Рафаэль и Корреджио! Чтобы решить спор, КТО прав, и в СВЕТЕ ли и сиянии мы, или в темноте и ПЛАЧЕ, то есть решить в сущности тысячетлетний спор и всеобщее недоумение, мне приходила такая мысль. Взять бесконечный лист бумаги, вроде той ленты, на которой отпечатывается 50 000 экземпляров газетного листа. Но пусть бумага эта будет разлиннована в мельчайшие квадратики, каждый в букву величиной. На эту ленту наносим Евангелие по букве в квадратике. Теперь, обойдя красной чертой события определенного цикла, мы получим, так сказать, относительность темных и светлых мест, плачущих и радующихся. Едва мы это сделаем, как почувствуем, до чего безосновательно было Renaissance и верно - византийство, Лютер и, наконец, будто бы «фанатизм» и «темнота» наших сектантов разных наименований. Конечно, никакого «культы Мадонны» не существует в Евангелии, т.е. он существует только в человеческом воображении и родился из человеческого воображения; и вообще «богородичность», «богородичная» сторона христианства - один штрих, страница, десять минут чтения, а «страсти Господни» - это долгое, долгое «стояние»... Помните ли вы часы у Каиафы? у первосвященника Анны? перед Пилатом? Какие томления! Шипы, тернии, удары тростью! Отречение Петра, сон учеников, этот ужасный сон, в такой роковой час, «прощальный» ... Предательство Иуды... И, наконец, - «разодралась завеса Храма и потряслась земля». Ужасно. Ужасно во впечатлении». О, какие тут «Мадонны»! Христианство - ужасно во впечатлении, рыдательно. - «Крепитесь: Я победил мир.» Какая-то ужасная, от нас скрытая (в сущности, в смысле) борьба. - «Ныне - суд Князю мира сего». Кто он, сей «Князь»? Темно. Все темно; хотя действительно через «младенца» пробуждается смерть, и колыбелью отменяется гроб; а мы уже видели, и таково заключение компетентнейших судей, что гроб есть существенный груз нашего корабля и существенный смысл нашего исторического плаванья. «Побеждено» ли Иисусом рождение, его ИНСТИНКТЫ и СИЛА, словом, - весь круг ВХОЖДЕНИЯ человека в мир? До НЕКОТОРОЙ степени, НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО - но действительно «побеждены»; и тогда хоть сколько-нибудь становится ясна беспово-

ротная тайна «смерти Бога», «гроба Господни»... Господь - в гробу! Какая ужасная тайна! Господь смотрит на человека из гроба! Какая тайна, как бесчувственен читатель, если он не содрогается. Как постижимы тогда «св. Мощи», которые ведь все «во след Господу» благоухают из гроба и манят нас к гробу же. Вот где родник аскетизма, вот где истинный его родник, а не в словах: «лучше не жениться»; родник - в этой огромно раздвинутой, разрисованной, убранной концепции «страстей Господних». Ибо может ли прийти на мысль хоть что-нибудь из «оженитьбы» у человека, выстоявшего «12 Евангелий» в Великий Четверг или у простоявшего час у мошей св. Феодосия в Киеве? Ничего подобного! «Господь в гробу» - какая же мысль о браке? И вот где не только родник аскетизма, но и, в сущности, какого-то искусственного положения брака в христианстве, которое все чувствуют, начинают чувствовать. Какой тут «брак» сквозь рыдания, цветы по трауру: это - розы на плакучей иве. Конечно, это - прибавка, примечание под страницей, приписка сбоку, а не текст сплошь читаемой и связанной страницы. Романтическая страница, минута из жизни Ромео и Юлии - просто здесь не связуема и не вписуема; даже в чтении она едва выслушивается; и между тем это - земля, начало земного, устой бытия. столь же вековечный, как и гроб; т.е. это, если угодно, вторая религия или, пожалуй, ЕЩЕ религия, но только не ХРИСТИАНСКАЯ. Религия Отчей Ипостаси, мирового родительства, сколько мы постигаем, сколько можем постигнуть очень бедным своим умом. Религия - СЮДА войти, ниспасть на землю; и религия ОТСЮДА выйти, вознестись на небо. «Земля есть подножие Твое», поется в одном псалме; вот сюда, на это «подножие», мы все падаем, в сущности, из отчей ипостаси. По неизменному сказыванию всех людей - «мы рождаемся ОТ БОГА», или, как Филарет отвечал Пушкину: «Жизнь - ОТ БОГА нам дана.»

Отсюда, из этих представлений, - и термин псалма: «земля есть подножие Божие, а небеса - Престол его». Но совершенно вне этой орбиты лежит смысл христианства, обнимающего только одну вторую половину или вторую трансцендентную истину нашего бытия - приближение к гробу, и через гроб - вознесение в небеса. «Мы воскреснем после смерти, и даже смерть есть способ Воскресения от земли в небо» (какое-то мистическое, а не астрономическое, конечно) - вот и все христианство, от точки до точки.

В этом смысле «плакучая ива» нашего бытия не бесконечно печальна; но бесконечно печально, что мы на ней упорно, как Лютер,

сосредоточены. Есть розы, есть Renaissance : есть Божии на земле розы. и Renaissance был божественным явлением, даже Божиим Откровением, но лишь не в орбите Второй, но Первой Ипостаси. Но как проникновенно оказывается учение о «лицах» Божества, коему нас учили Вселенские соборы, и которого, судя по записанным Эккерманом «Разговорам», не понимал и решительно отрицал даже Гете: «Никогда три не будут одно». Между тем до такой степени очевидно, что, например, семья, брак, весь исторический Renaissance просто не умещаются «в том же Лице», в коем сосредоточены гроб, смерть. И между тем ГРОБ и РОЖДЕНИЕ - обои ЕСТЬ, и есть как вечный и святой факт.

Радость свящ. Петрова и вообще оптимистов тогда основательна и только не туда адресована: как белый флаг нашего корабля истинен же, но только не при том и не туда направление корабля. В Апокалипсисе обещаны всем, без исключения всем людям, зеленые пальмы и «убеленные одежды» и, наконец, обещано же «Древо Жизни». Вот истинный путь исторического корабля. и некоторое примирение наших скорбей и радостей...

ОТ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ТИХОНА

СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

...Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания?

Поистине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. Народу, изнуренному кровопролитной войной, вы обещали дать мир «без аннексий и контрибуций».

От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унижительные условия которого вы сами не решились обнародовать полностью? Вместо аннексий и контрибуций великая наша родина завоевана, умалена, расчленена и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото.

Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно сражались. Вы научили их, недавно еще храбрых и непобедимых, оставив защиту

Родины, бежать с полей сражений. Вы угасили в их сердцах воодушевлявшее их сознание... Отечество вы подменили бездушным интернационализмом, хотя сами отлично знаете, что, когда дело касается защиты отечества, пролетарии всех стран являются верными его сынами, а не предателями.

Отказавшись защищать родину от внешних врагов, вы однако беспрерывно набираете войска. Против кого вы их ведете?

Вы разделили народ на враждующие между собой станы и ввергли их в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью, и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян доставить торжество мировой революции.

Не России нужен был заключенный вами позорный мир с нынешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир.

Никто не чувствует себя в безопасности, все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного суда. Казнят не только тех, кто перед вами в чем-либо провинились, но даже тех, которые перед вами заведомо ни в чем не виноваты, а взяты вами в качестве заложников. Этим несчастных убивают в отместку за преступления, совершенные лицами, не только им не единомысленными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждению... Бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения-напутствия Св.тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения.

Не есть ли это верх бесцельной жестокости со стороны тех, которые выдают себя благодетелями человечества и будто бы сами когда-то претерпели от жестоких властей?

Но мало вам, что вы обагрили руки русского народа? Обагрили братской кровью, прикрываясь различными названиями контрибуций, реквизиций и национализаций, вы толкнули его на самый беззащитный открытый грабеж. По вашему наущению нагреблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем «буржуев» грабили людей состоятельных, потом под именем «кулаков» стали уже грабить и более зажиточных и

трудолюбивых крестьян, умножая таким образом нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна.

Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его СОВЕСТЬ и заглушили в нем сознание греха. Но какими бы названиями не прикрывались злодеяния, убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами и преступлениями.

ВЫ ОБЕЩАЛИ СВОБОДУ.

Великое благо – свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и своеволие. Но такой-то свободы вы и не дали во всяческом потворстве низменным страстям толпы, в безнаказанности убийства и грабежа заключается дарованная вами свобода.

Все проявления как истинно гражданской и высшей духовной свободы человечества подавлены вами беспощадно.

Это ли свобода, когда никто без особого разрешения не может провезти себе пропитание, нанять квартиру, переехать из города в город? Это ли свобода, когда семьи, а иногда и население целых домов выселяются, и имущество выкидывается на улицу, и когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голод, на разграбление? Это ли свобода, когда никто не может свободно высказать свое мнение, без опасения попасть под обвинение в контрреволюции? Где свобода слова и печати? Где свобода церковной проповеди? Уже заплатили своею кровью мученичества многие смелые церковные проповедники. Голос общественного и государственного обсуждения заглушен, печать, кроме узко-большевистской, задушена совершенно.

Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Не проходит дня, чтобы в органах нашей печати не помещались самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и ее служителей, злобные богохульства и кощунства. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляете епископов рыть окопы (епископ Тобольский Гермоген) и посылаете священников на грязные работы. Вы наложили руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их последнюю волю.

... Не буду говорить о распаде некогда великой и могучей России, о полном расстройстве путей сообщения, о небывалой продовольствен-

ной разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного в деревнях. Все это у всех на глазах. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в нем образ зверя.

13(26) октября 1918 г.

VI. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ МАНИФЕСТЫ НАЧАЛА XX ВЕКА

Журналистика, посвященная вопросам изобразительного искусства, возникла (как и многое другое в русской жизни) с «благословления» государя-императора и на деньги богатых меценатов, а не благодаря коммерческим или пропагандистским интересам художественной общности. «Журнал изящных искусств» (1823 - 1825 гг.) издавался на деньги Александра I. С участием богатых дворян-меценатов выходила и первая «Художественная газета» (1836 - 1841 гг.). Эти и последующие издания: «Иллюстрация» (1858 г.), «Светопись» (1858 - 1859 гг.), «Русский художественный листок» (до 1862 г.), «Искусство» (1866 г.), «Пчела» (1875 - 1877 гг.), «Артист» (1889 - 1895 гг.), «Искусство и художественная промышленность» (1898 г.), «Вестник изящных искусств», «Художественные новости» (1883 - 1890 гг.) - ставили перед собой цель осветить многообразие художественной жизни России, в известном смысле они были энциклопедичны. «Не проповедаю одного исключительного направления, не замыкаясь в рамках интересов какой-либо партии, журналы будут стремиться быть органами всего русского искусства», - писал «Вестник изящных искусств» в программном заявлении. Главные жанры таких журналов - обзор выставок, хроника событий художественной жизни, иллюстрация, зарисовка о художнике, артисте, музыканте. Появление группы передвижников внесло в художественную журналистику жанр палемики, в ходе которой кристаллизовались эстетические и философские обоснования неакадемического искусства. У передвижников не было своего печатного органа. Но к началу XX века они отвоевали себе симпатии общественности и успели успокоиться, их критический реализм «поднадоел» публике. На смену ему пришло искусство импрессионистов. Н. Страхов, сделавший себе имя на критике противников передвижников, бросился на склоне лет «клевать» очередных своих противников, назвав выставку молодых русских импрессионистов «подворьем прокаженных». Новые «молодые» перчатку не подняли, отвоевывать традиционные органы печати не стали, а создали собственную журналистику.

Журнал «Мир искусства» (1899 - 1904 гг.) поставил себе целью пропаганду импрессионизма и творчества молодых, еще не признанных Академией художеств мастеров. Главный жанр издания - иллюстрация (до двух третей объема), микрорецензия выставок, отдельных

работ художников (по типу ревью). Устройство выставок два раза в год стало составной частью редакционной работы. Но постепенно становясь популярным изданием, «Мир искусства» не избегал теоретических материалов, разъясняющих эстетические позиции художественного направления и материалов о своем художественном методе анализа картин. Этот метод был близок литературному направлению - символизму. Русские литераторы-символисты сами переживали увлечение импрессионизмом. Это привело на страницы «Мира искусства» символистов К. Бальмонта, А. Белого, В. Брюсова и других. Со временем они не могли довольствоваться узкими рамками журнальной модели «Мира искусства» и основали собственный журнал - «Весы» (1904 - 1909 гг.).

В отличие от «Мира искусств», который якобы не замечал других направлений в русской живописи и пропагандировал только свое - импрессионизм, журнал «Весы» объявил бой реалистическому искусству. В первые два года издания на страницах «Весов» не было традиционных разделов русского толстого журнала - беллетристики, обзоров политической и общественной жизни России и заграницы. Все сто страниц объема занимал критико-библиографический отдел. Статьи В. Брюсова и его единомышленников на этом этапе истории журнала были посвящены полемике с демократическим реализмом в живописи, литературе; позитивизмом и материализмом - в философии. «Весы» яростно разбивали и своих конкурентов - в частности «Золотое руно» (1906 - 1909 гг.).

«Золотое руно» поставило своей задачей соединить опыт своих предшественников в одном издании : шикарное оформление от «Мира искусства» и теоретизм от «Весов». Во всех журналах сотрудничали одни и те же авторы - Бальмонт, Блок, Белый, Сологуб, Врубель, Сомов, Бакст и др. Только искусство редактора могло придать журналу неповторимость, определить специфику направления издания. Поскольку редактор «Весов» Брюсов это направление выбрал как теоретическое, он считал невозможным ведение журнала в ином любом ключе. До 1907 года оба издания полемизируют о содержательной модели журнала искусств. «Весы» отстаивали «индивидуализм» в искусстве, «Золотое руно» - «соборность» (см. статью М. Волошина). «Весы» выступали за европеизм, западническое мировосприятие, «Золотое руно» - за национальную самобытность и традиционализм (см. статью «О национальном элементе в искусстве»). В «Весах» обосновались «киты» русского импрессионизма, «Золотое руно» представляло молодое поколение их

последователей (Сарьян и др.) и символисты (Волошин, Городецкий, Борис Зайцев, Энгерт и др.).

Брюсов называл своего противника «избыточно роскошным журналом», «амбаром для случайных материалов», но вынужден был согласиться, что к 1909 году символизм свели с реализмом, что закономерно привело к прекращению издания узконаправленного журнала.

Полемика двух журналов выявила наиболее плодотворные направления развития модели журнала, посвященного искусству. В 1909 году им на смену пришло издание, вобравшее в себя опыт всех предыдущих - «Аполлон» (1909 - 1918 гг.). Полновесно (в иллюстрациях, рецензиях, творческих портретах, хронике) в нем были представлены художественный, театральный, музыкальный, литературно-критический отделы. Была выбрана взвешенная интонация, найден жанровый баланс. А круг авторов остался тот же. Традиция устраивать два раза в год выставки, вывозить лучшие полотна за рубеж, продавать картины с аукциона - осталась. Журнал стал менее роскошным, но остался по-прежнему нарядным; менее искусствоведческим, но более популярным; не узко направленным, а скорее «энциклопедией русского современного искусства». В Брюсов нападал за это на редактора «Аполлона» С. К. Маковского, но тираж говорил сам за себя, он в десять и более раз превышал тираж «Весов». Популярность издания говорила о том, что оптимальная модель журнала искусств найдена.

С. П. ДЯГИЛЕВ

ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЫСТАВКИ И РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ

1896 ГОД

I

В нынешнем году на двух больших выставках Европы - в Берлине и Мюнхене - появились картины русских художников. В Берлине даже составилась целый русский отдел: так много художников пожелали познакомить Европу с произведениями своего мастерства. Выступая на этой интернациональной и блестящей выставке, художники брали на себя огромную ответственность; они знакомили Европу с нашим искусством, еще не пробившим себе пути на Западе; завоевать же себе популярность - роль трудная, к которой надо относиться с громадной осторожностью и тактом. Но несмотря на все это, русский отдел на берлинской выставке производит тяжелое и крайне жалкое впечатление. Из всех выступивших художников заслуживают внимание лишь Репин, приславший, между прочим, своего прелестного «Листа», и Эдельфельт, который пожелал участвовать также в русском отделе; но они не спасают выставки; все остальное - это случайный набор художников, из которых большая часть и дома-то не имеет никакого успеха. Достаточно сказать, что гвоздем выставки является непонятная картина Симонова «Митрополит Филипп», которая своим грубым и откровенным подражанием Сурикову и своим комичным рисунком всегда возбуждала лишь неприятное чувство вследствие отсутствия эстетики. Но, и кроме г. Симонова, решились компрометировать русское искусство многие и многие художники, которые особенно великолепны вдали от всепрощающей родины.

Единственным, как я уже упоминал, отрадным явлением служит Эдельфельт, впервые выступивший в нашем художественном мире.

И многие художники, считающие Эдельфельта вполне русским, удивляются, как он не занимает еще кафедры у нас в Академии.

Итак, русский отдел в Берлине составлен без всякой системы, без всякого руководящего начала. Посылал, кто хотел и чего хотел.

Совсем иное впечатление производит выставка Secession в Мюнхене. С появлением в свет талантливой книги Рихарда Мутера «Исто-

рия живописи XIX столетия», где была помещена толково составленная статья о русской живописи, Мюнхен начал интересоваться русским искусством. В прошлом году там имел хороший успех Репин со своими «Казачками». А нынче же устроитель и заведующий выставкой, Паулус, обратился с письмом к одному из наших молодых художников и попросил его заняться организацией русского отдела на мюнхенской выставке. Он писал, что их очень интересует вновь появившаяся в России «мистическая» школа живописи, а также отдельно упомянул о художнике Левитане, о котором он уже слышал раньше. Итак, из письма было видно, что писавший со свойственным ему чутьем попал прямо в цель. Он метил в центр нашей, единственно интересной, зарождавшейся московской школы. Надо вспомнить, что этот же Паулус за короткое время существования Secession'a уже не раз пропагандировал и прямо даже создавал целые школы, до того неизвестные. Он содействовал популярности голландцев, и им, можно сказать, создана шотландская школа. На последнем примере влияние Secession'a и его руководителя особенно заметно. Когда в самой Англии, так ревниво охраняющей свое искусство, еще никто не говорил о шотландских мастерах, они уже наполняли Мюнхен и лишь много лет позже вернулись с большим именем к себе на родину. Secession неустанно разыскивает по всему свету все то новое и характерное, с чем он может познакомить Мюнхен и чрез него - всю Европу.

Обращение к русской школе заставляло серьезно подумать, поразобраться и взвесить значение наших художников. Приглашение Secession'a было передано 8 - 9 молодым художникам, которые, как казалось, вполне удовлетворяли программе этой выставки. Но устроить дело было не так легко. У некоторых художников ничего в ателье не оказалось. Некоторые не знали, что такое Secession, и потому очень скептически относились к посылке вещей в такую даль. Один же, и наиболее интересный, прямо заявил, что он посылает все имеющиеся у него вещи в Нижний и что ему гораздо важнее, чтобы его знали в России.

Таким образом, оказалось, что на призыв одной из первых выставок Европы откликнулись только четыре художника: Левитан, А. Васнецов, Серов и Переплетчиков.

II

Зная всю историю мюнхенской выставки, я с большим интересом ожидал ее открытия. Русского отдела на ней не было, и немногие картины русских художников были размещены совместно с другими школами. На другой день открытия я отправился на выставку с твердым желанием отнестись строго и беспристрастно к анализу моих впечатлений. Я нашел наших русских художников, с удовольствием узнал несколько старых знакомых картин и любовался тем, что они были нисколько не хуже многих других окружавших их полотен; но мною овладело какое-то странное чувство, сознание, что это не то, не того от них требовали и ожидали. Они не дали того нового слова, которого жадно ждали от их сильной свежей национальности. Я пришел к Паулсу и спросил его, что думает он о нашей выставке. Он, видимо, не хотел быть откровенным и сказал, что выставка невелика, что многие хорошие художники ничего не захотели прислать и что он в будущем надеется получить что-нибудь более яркое. В чем же была ошибка?

Весь вопрос в том коренном непонимании, чего ждала Европа от русской живописи, и в той неопытности, с которой художники выбирали свои произведения. Если Европа и нуждается в русском искусстве, то оно нуждается в его молодости и в его непосредственности. И этого не поняли наши художники. Они как бы устыдились представить на суд Европы нашу национальность и хотели только доказать, что и мы умеем так же писать, как и западные европейцы. Но им ни разу не пришел в голову вопрос: можем ли мы вас научить тому, что вы еще не знаете? Можем ли мы дать новое слово в европейском искусстве или наша участь лишь не отставать от вас? Этот вопрос не пришел никому в голову, и это-то и обезличило наших художников.

Какая из больших школ живописи за последнее время приобрела наибольшее влияние? Норвежская. И почему? Как только появились эти снега севера, туманы, ели и пахло севером, как все двери отворились навстречу этим художникам и она вошла в жизнь Европы, заняв свое определенное место в ее искусстве.

Того же ждали и от России: ждали не тех северных пейзажиков, которые угрюмо выглядывают из углов, как бы просясь, чтобы на них обратили внимание. От нее ждали нововизантийской «мистической» живописи, так сказать. Византийского Пювис де Шаванна. От пейза-

жей ее широкой, бесконечной дали, русской деревни и тихого благовеста русской церкви. Ждали русской золотой ослепительной осени, ждали весну с потоками и тающим снегом. И, боже мой, появивсь «Тихая обитель» Левитан: или его же «Над вечным покоем», или «Сергий Радонежский» и «Монахи» Нестерова, мы заставили бы их посчитаться с нами и согласиться, что в нас есть своя нетронутая еще поэзия. И выступать нам надо не с той тривиальной, шаржированной грубостью, от которой, как сказал Ганслик, «пахнет сивухой» и которую так часто выставляли наши художники, думая, что в этом-то заключаются наши непосредственность и оригинальность. Грубость эта лишь шокирует и отталкивает культурного человека. Нам не надо давить той гигантской мощью, которая присуща русскому таланту.

Всем этим ожиданиям не удовлетворили наши художники. Лучшие других вышел Серов с сильным портретом девушки в белом и с северным пейзажем с оленями, приобретенным принцем-регентом. За ним идет Левитан с четырьмя недурными пейзажами в серых тонах. Неудачен Переплетчиков. И плохи большие, скучные, где-то высоко повешенные пейзажи А. Васнецова. И это все. И это среди выставки, где кругом кипит жизнь, где художники стараются выступить, куда французы, по закрытию парижских салонов, посылают свои лучшие вещи, где эффектно развиваются американцы и шотландцы, где старость Белкина находит одинаковое место с молодостью Гуммеля и Янка, где все - борьба и жизнь.

Здесь-то и должна выступить наша молодая живопись. Но чтобы быть победителями на этом блестящем европейском турнире, нужна глубокая подготовка и самоуверенная смелость. Надо идти напролом. Надо поражать и не бояться этого, надо выступать сразу, показать себя целиком, со всеми качествами и недостатками своей национальности. И бояться этих недостатков значит скрывать качества. Отвоевав себе место, надо сделаться не случайными, а постоянными участниками в ходе общечеловеческого искусства. Солидарность эта необходима. Она должна выражаться как в виде активного участия в жизни Европы, так и в виде привлечения к нам этого европейского искусства; без него нам не обойтись - это единственный залог прогресса и единственный отпор рутине, так давно уже сковывающей нашу живопись.

ПЛЯСКА СМЕРТИ

(К САМОУБИЙСТВУ С. Г. ЛЕГАТА)

1905 ГОД

Под прикрытием общего напряженного состояния и повального нервного возбуждения некоторые всеильные администраторы начинают творить такие проделки, которым сразу не находишь названия и о которых невозможно молчать.

В самой мирной, отвлеченной и вне житейской области искусства, лишь внешне соприкасавшейся с потоком событий, на днях произошли совершенно неожиданные трагедии, раскрывшие такие глубины насилия и грубости, о которых нельзя было и предполагать до этого последнего обнажения, достигнутого ценою ужасных кровавых фактов.

Даже люди, близко стоявшие к театру, не могли ожидать тех макиавеллевских приемов, какие правила ловкая дирекция императорских театров, и по отношению к кому же - к безобидной труппе петербургского балета, доведя ее артистов, как это ни удивительно сказать, до самоубийств и безумия.

Но даже и этим дело не ограничилось: дирекции понадобилось выдумать в балете политическую забастовку для того, чтобы, как говорят последние известия, исключить из состава артистов целую группу «главных бунтовщиков», очевидно, неугодных дирекции, которым остается или продолжать сходить с ума, или искать счастья на жалких сценах провинциальных театров. Но молодые здоровые люди-атлеты могут срезать себе головы, женщины валяться в истериках - настоящие виновники всех этих преступлений всегда найдут себе длинные ряды оправданий и успокоение не только умов, но и совести.

Надо хоть немножко знать историю этой драмы и представить себе то количество болезненных недовольств и молчаливо снесенных обид, которые к ней привели, чтобы немедленно выступить обвинителем тех, кто могли и были обязаны предотвратить все эти ужасные последствия своих долгосрочных проступков.

Всякий интересовавшийся балетом давно уже знал, что там творится очень неладное: единичные столкновения между артистами и дирекцией, циничная в таких случаях грубость последней, внесение

администрацией раздора в самую среду артистов путем выдвигания не по талантливости, а по угодливости, распространение доносов и вредных сплетен и, наконец, поведение господ администраторов в эти последние тяжелые дни, когда не могло и не должно быть ни начальников, ни подчиненных, а прежде всего должны были быть люди и людские отношения.

Что сделала дирекция для успокоения всех этих разбушевавшихся изнервленных людей, которые казались господам директорам лишь куклами из «Коппелии» и марионетками из «Щелкунчика»? Они, вероятно, забыли, что даже и в «Коппелии» куклы оживают и что бывают моменты, когда порядочность живых свежих людей ломает всякие преграды и когда люди эти требуют прав в качестве истинных служителей искусства, не могущих подчиняться приказаниям беспринципных бейторов и бутафоров.

На собрании артистов, между прочим, был поднят вопрос о современном падении балета как чистого и высокого искусства, все были озабоченны и одушевлены одной мыслью - сохранить и поднять художественность своего любимого дела, чтобы не заслужить упрека в ненужности и праздности и влить в общество свою каплю одушевления призывом к новому художественному творчеству.

Как воспользовалась дирекция этим молодым порывом, таким понятным и бесценным? Дирекция не преминула, конечно, и из этого tirer son petit profit (с французского: извлечь маленькую выгоду). Она любезно разрешила собранию выбрать делегатов, узнав тем самым имена всех наиболее смелых и непокорных, с кем она теперь не постесняется поступить с той же рыцарской беспринципностью, какая оттеняет все прочие ее поступки. К сожалению, деятельность делегатов была недолговременна и, кроме упомянутой услуги для дирекции, значения для труппы почти не имела, так как г. директор, трижды назначавший депутации часы приема, столько же раз пугался ее принять лично, доверяя одному из своих помощников испытать на себе всю лютость этих страшных забастовщиков.

Одновременно с тем дирекция, справедливо опасавшаяся скандалов во время представления, но, конечно, не решившаяся закрыть театр по собственной инициативе, воспользовалась нервным настроением труппы, чтобы свалить несостоявшийся спектакль на мнимую, дирекцией же выдуманную забастовку артистов.

И все это вместе взятое закончилось в момент, когда лежало без-

дыханное тело одного из товарищей, другой же метался в сумасшедшем бреду, заявлением руководителя труппой, что еще, слава богу, «все так хорошо кончилось».

Не надо больше фактов: приведенное слишком красноречиво говорит за себя. В данный момент Россия одевается в новый наряд; неужели же в области искусства, этого необходимого двигателя всякой культуры, не настанет час обновления и час новых людей?

В другом нашем художественном учреждении - в Академии художеств - на этих днях произошла крупная, но печальная перемена - истинно благородный и обаятельный человек ушел из нее. Гр. И. И. Толстой не мог оставаться в той тине интриг и затхлости, в которой благоденствуют г-да Теляковские и Крупенские.

Но если принципиальное расхождение во взглядах с художественными варварами-руководителями заставило гр. Толстого немедленно покинуть свой пост в ожидании более достойного и плодотворного применения своих сил, неужели непредотвращенная пляска смерти не помешает г-ну Теляковскому благополучно довершить свою бессистемную и беспринципную программу, в которой он сам недавно так блестяще признался?

Не знаю, время ли теперь думать о театре и о балете, но о вакханалии безответственного своеволия по отношению к людям, зависимым и бесправным, всегда время говорить и всегда время требовать общественного суда.

ВОЛОШИН МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИНДИВИДУАЛИЗМ В ИСКУССТВЕ

Существует ли в действительности то противоречие, которое требует выбирать между индивидуализмом и традицией?

Разве не связаны они оба органическим законом развития, и разве индивидуализм - этот тонкий культурный цветок - может вырасти вне того плодотворного и насыщенного перегиба, который называется традицией?

В искусстве, кроме языка демотического, общедоступного, которым пользуются все, есть еще другой, скрытый язык - язык символов, образов, который в сущности и составляет истинный язык искусства независимо от подразделений искусства на речь, на пластику...

Мы все пользуемся этим языком бессознательно. Но у этого языка есть свои законы и уставы, настолько же нерушимые, как законы и уставы грамматической речи.

Этот иероглифический язык искусства развивается медленно, постепенным накоплением и постепенным изменением, и внутреннее чувство художника так же протестует против варваризма новых символов, как и работа над развитием языка.

Канонические формы искусства в своей сущности сводятся к законам этого гнратического языка образов. И работа их развития идет так же бессознательно, как и работа над развитием языка.

Искусство в настоящее время может говорить только этим двух-степенным языком, и признание этого вторичного языка символов и образов есть уже признание канона.

Канон в искусстве ограничивает только выдумку.

Выдумка же, бесспорно принадлежащая к благородным свойства человеческого мозга, должна быть выделена из области субъективного.

Индивидуализм может создаться только на почве традиции, потому что индивидуалистическое искусство может возникнуть только при вполне развившемся языке символов и образов.

Дух художника должен подчиниться канону, потому что, принимая канон, он этим приобщается к народному творчеству и раскрывает родники своего бессознательного.

Нужна была изначально данная узкая и длинная глыба мрамора, что-

бы Микеланджело нашел в ней напряженную тетиву своего Давида.

Никогда не следует забывать слова Гете о том, что творчество - это самоограничение.

Канон в искусстве не есть нечто мертвое и непреложное. Он постоянно растет и совершенствуется. Противоречие между живым духом и каноном то самое, которое есть между постепенным развитием человеческого организма вообще и постоянным ритмическим возвращением в него беглой искры индивидуального сознания, вспыхивающей между рождением и смертью.

Но канон жив и плодотворен только тогда, когда есть борьба против него, другими словами, когда дух не помещается целиком в своем теле и рамки канона дрожат от напряжения внутренних творческих сил.

Когда нет борьбы против, - то нет и искусства.

Канон - это тюрьма.

Но великая мечта о свободе может родиться только в тюрьме и цепях. Символ нашей - европейской - свободы - скованный Прометей.

Цепи на теле - крылья нашего духа.

Цепи - это наше тело.

Мечта может ВОПЛОТИТЬСЯ в художественном произведении. ВОПЛОТИТЬСЯ, то есть сознательно связать себя канонически непреложными законами развития живых форм, гранями рождения и смерти, - умалиться для того, чтобы вырасти.

Мечта должна пройти чрез материю и грехопадение, потому что каждое произведение искусства есть грехопадение мечты.

Гете говорит: «Дух, воплощаясь, должен помрачиться и ограничиться»

Земная смерть есть радость Бога.

Он сходит в мир, чтоб умереть.

В совершенствовании вечный и зрящий дух должен сокращаться до периодического заключения в панцырь пяти раздельных чувств.

Для мечты художественной так же необходима последовательность развития внешней формы, как для воплощения духа вся постепенная смена эволюции от минералов до растений и до животных форм.

Необходимо это долгое, постепенное накопление одной черты на другую, миллионы лет кропотливой работы от поколения к поколению, чтобы создать себе настоящее тело. Необходима та ежедневная тупоум-

ная консервативность, которая только в перспективе тысячелетий оказывается гениальностью.

Иначе формы поглощения не получают необходимой земной устойчивости, не смогут сделаться сознательными пересоздателями земной природы, и художественные мечты останутся смутными и незаконченными обитателями человеческой сферы, подобные легионам невоплотившихся духов, которые бродят и маются в земной области и для случайных выявлений должны на время овладевать телом других созданий, сами имея формы смутные, неопределенные и меняющиеся.

Но, принимая насущную необходимость художественных канонов, в чем же мы найдем оправдание революционного индивидуализма?

То, что было сказано о грехопадении мечты, воплощенной в художественное произведение, относится и к самому человеку.

Потому что и сам человек - воплощение и ограниченная мечта Величайшего Поэта.

В мире существует два противоположных течения.

Божественный Дух погружается постепенно в материю, постепенно отказывается от себя для того, чтобы погаснуть совершенно в безднах материи, что выражено в словах Платона о «мировой душе, распятой на кресте мирового тела».

И тогда материя, преображенная и самосознавшая, начинает свое восхождение к вечному Духу.

Именно здесь рождается индивидуальность, потому что сознание индивидуальности - это свойство просветления материи.

Божество лишено индивидуальности. Поэтому земная смерть есть радость Бога - он сходит в мир, чтобы умереть.

Самосохранение лежит в основе материи. Поэтому основное свойство индивидуализма - самосохранение.

Но индивидуальность должна преодолеть силу самосохранения и добровольной жертвой, добровольным отказом от своей личности найти свое высшее самоутверждение, точно так же, как вечный Дух должен умереть земной смертью, чтобы найти свою индивидуальность.

Нисхождение духа в материю - инволюция духа - совершается ритмическим самопоограничением.

Восхождение просветленной материи - эволюция духа - совершается ритмическим самопожертвованием.

Две противоположные силы самосохранения и самопожертвова-

ния делают эволюцию трагическим восшествием индивидуальности, соответствующим крестному нисхождению Духа.

Но Дух самоограничивает, жертвует не всего себя: только один луч солнца уходит в материю - не Бог, а сын Божий воплощается на земле, в то же время как человек в своем восхождении должен целиком, безвозвратно отрешиться от самого себя, чтобы подняться на новую ступень. Поэтому жертва человеческая больше, чем жертва Божественная.

Тот, кто отдает свою индивидуальность, снова найдет ее. Тот, кто будет хранить, - потеряет.

Семя, если не умрет, не принесет плода.

Таков закон.

Индивидуализм - это семя.

У семени уже нет прямой физической связи с прошлым. Оно заключено в самом себе и таит возможность возникновения целого мира. То, что в средние века было доступно художественной общине, теперь потенциально заложено в личности. Но эта потенциальность должна быть еще выявлена.

Семя должно истлеть в земле, чтобы стать великим ветвистым деревом.

В основе каждого великого искусства лежит индивидуализм, но индивидуализм не самодовлеющий, а преодолевший самого себя, отказавшийся от себя ради своего плода.

Переходя здесь к вопросу об индивидуализме наших дней, мы замечаем, что наш индивидуализм содержит в себе в высшей степени элемент самосохранения и совершенно чужд идеи самопожертвования, что доказывает только, что наш индивидуализм еще далеко не достиг своих и предельных точек развития.

В середине века и в эпоху Ренессанса искусство пластическое жило в самом сердце народной жизни и творило все вещи, которые окружали человека.

В тяжелый перелом демократического создания Европы, когда новый Демон, имя которому Машина, вступил в человеческую жизнь и стал творить вещи и обстановку человека, художники отступили от жизни и потеряли непосредственную творческую связь с ней. Произошло разделение художника и ремесленника, неведомое раньше. Художникам, для того чтобы спасти себя в том абстрактном и безвоздушном про-

странстве, в котором они очутились, надо было для самосохранения замкнуться в свой индивидуализм.

В XIX веке искусство стало перед жизнью, потому что оно перестало быть внутри жизни.

Освободительного движения в искусстве XIX века не было, и нет его и до сих пор: то, что мы называем движением освободительным, на самом деле было движением охранительным; но охранялась здесь не традиция искусства, а обособленное положение художников, стоявших вне жизни. Общее чувство было боязнь запачкаться об эту фабричную мещанскую жизнь, которая заполнила все формы жизни. Художники отступили перед мещанством и провозгласили индивидуализм как факт неслияния с жизнью.

Щиты, которыми защищался индивидуализм, были почерк, маска и имя.

В дальнейшем своем развитии индивидуализму предстоит преодолеть свое имя. Это будет той жертвой человеческой, которая подымет его на новую ступень.

Великое народное искусство всегда было безымянным.

Имя только тогда имеет смысл, когда оно служит знаменем.

Когда идет борьба против окостенелых форм, знамена необходимы. Душа летит за этими лоскутами, ныряющими в вихрях сражений.

Но когда борьба прошла и наступает время созидательной работы, зная, развевающееся над мирной мастерской, становится просто торговой рекламой.

В настоящее время художникам не нужно больше знамен. Свободные искания в искусстве завоевали свое существование, но художники продолжают стараться прежде всего создать себе имя - фабричную марку, которая отмечала бы все вышедшее из рук художника.

В моменты высшего развития народного искусства имя всегда исчезает. В готическом искусстве XIII века почти нет имени.

Маска или почерк в своей области равносильны имени.

Самосохранение мешает общей работе, которая возможна только при свободно установившейся иерархии искусства.

В те эпохи, когда каждый стремится создать свою маску и свой почерк, не может возникнуть общего стиля.

В эти эпохи исчезает возможность честного пережевывания уже раз сделанной работы, в котором лежит основа постепенного совершенствования стиля, на котором зиждется несокрушимый фундамент каж-

дого великого здания.

Кроме того, имя создает понятие «плагиата» - явление в высшей степени вредное для искусства - угрозу, висящую над головой каждого современного художника.

То, что теперь называется «плагиатом» в искусстве, есть основа преемственной связи между художниками.

Есть две стадии понимания идеи.

Идея может быть понята логически и принята умом как истина, но это еще не делает человека ее обладателем.

Но есть момент, когда эта же идея вдруг становится частью его самого, воспринимается органически, и тогда это его идея, она стала зерном и дала росток. И если форма цветка даже до полного тождества совпадет с известной уже в человечестве формой, этот цветок все-таки будет его собственным и не будет плагиатом.

Какому извращенному мещанством уму могли прийти в голову безумные мысли, что идея может принадлежать кому-нибудь? В прошлые века имя плагиата существовало, но оно имело совершенно иное значение, чем теперь.

В XVII веке Пьер Бейль давал такое определение плагиату: «Совершить плагиат это значит украсть из дому не только мебель и картины, но унести с собой и веник и пыль.»

Совершающий плагиат был тот, кто грабил без вкуса и без разбора идейные обиталища.

Тот же, кто брал с выбором только необходимое для своего труда, совершал поступок вполне законный.

Индивидуализм современного искусства, воплощенный в ИМЕНЕ, создал небывалое по своей разрушительной силе понятие плагиата.

Кроме этих трех преград современного искусства, Имени, Маски и Плагиата, у живописи есть еще одна форма, которая служит первопричиной современной небывалой смуты в области изобразительного искусства.

Это то, что вся область искусства, раньше создававшая вещи, перешла в писание картин.

С тех пор как в изобразительных искусствах установилась самодовлеющая форма картины, не связанной ни с каким определенным местом, легко переносимая, заключаемая в любую раму, развитие живописи пошло неизбежно совершенно новым путем.

Картина, существовавшая первоначально как фреска, т. е. занимавшая всю стену, стала постепенно окном, прорубившим отверстие в стене.

В этой своей стадии картина находилась в органической связи с архитектурной логикой всего здания. Размеры, форма и орнамент рамы позволяют нам проследить эту архитектурную зависимость картины.

Но когда в XIX веке началось фабрично-промышленное движение, заставившее художников отступить от жизни, то картина как форма художественного произведения получила самостоятельное значение и совершенно утратила свою связь с комнатой и со стеной.

Картина стала символическим окном души и этим дала громадный простор развитию индивидуалистического искусства.

Но, с другой стороны, для нее не оказалось больше места в человеческом жилище, заполненном современными вещами - этими некрещеными детьми мещанства и машины - Хама и Демона.

Художники, объявившие, что они не согласны с жизнью, стали вежливо и осторожно писать ее портреты, стараясь вульгарность общего выражения физиономии заменить яркими красками, сияющими на ее лице, нездоровым лицам пролетариев придать характер древнего проклятия, а бессмысленным глазам кокеток диaboлический пламень соблазна.

Но все они делали одно и то же, писали картины никому не нужные, которых некуда повесить в европейском жилище, которые совершенно не подходят к характеру современной комнаты, для которых, как для неизлечимых сумасшедших, приходится строить специальные дома и запира́ть их туда.

Одним словом, благодаря установившейся форме картины, художник перестал быть создателем материальной сферы, окружающей человека, и стал только ее описателем, ее портретистом.

Пластическое искусство только до тех пор может быть велико, пока оно непосредственно интимно связано с материалом - это лежит опять-таки в самой сущности идеи воплощения, которая должна «по-мрачиться и ограничиться», и тогда грубая глыба материи просияет внутренним светом.

Эволюции формы, как я уже говорил, которая все больше и больше освобождает идею в ее первобытной чистоте, предшествует инволюция погружения духа в материю.

«Золотое руно», 1906 г. №10

ЧЕМУ УЧАТ ИКОНЫ?

Лучшей охраной художественных произведений во все времена были могила и варварство. Весь Египет встал из гробниц: статуи Танагры и Миррины были выкопаны из могил. Микенские гробницы, римские катакомбы, керченские курганы, засыпанная Помпея, разрушенная землетрясением Олимпия - вот сокровищницы древнего искусства. С другой стороны, пожар Кнососа, щебни Гиссарлика, Campo Vaccino на месте Форума, война, разрушение, пренебрежение, забвение - вот силы, сохранившие нам драгоценнейшие документы прошлого. Имя Константина, по ишибке данное конной статуе Марка Аврелия, Имя Богоматери, данное изображениям Изиды, - вот что охраняло эти произведения и дало им возможность дойти сохранными до наших дней. .

Смерть охраняет. Жизнь разрушает. До самого начала Ренессанса обломки античного мира лежали нетронутыми; как их оставили варвары. Возрождение, воскресшая любовь к древности разрушили гораздо больше произведений искусства в одно столетие, чем все варварство в тысячу лет. Жирардон, ретушевавший Венеру Арльскую, не исключение в истории искусства. Так поступали со всеми античными статуями: стоит только сравнить Ватиканский музей с музеем Терм или Афинским музеем. Любовь к искусству всегда разрушительнее забвения.

Варварство русских людей сохранило для нас дивное откровение русского национального искусства. Благочестивые варвары, ничего не понимающие в красоте тона и колорита, каждый год промазывали иконы слоем алифы. Алифа, затвердевая, образовывала толстую стекловидную поверхность, из-под которой еле сквозили очертания ликов. Но под этим слоем сохранились нетронутыми первоначальные яичные краски, которые возникают теперь перед нами во всем своем горении. Алифа была той могилой, которая сохранила и донесла нетронутым старое искусство до наших дней. Реставраторам икон приходилось делать настоящие раскопки, снимая с доски две-три, иногда даже четыре позднейших росписи, прежде чем добраться до древнейшего и подлинного произведения. Точно так же и Шлиман должен был снять пять слоев безвестных развалин, прежде чем достичь развалин гомеровской Трои...

Кто знает, не повлечет ли за собою это обнажение от алифы очищенных икон их окончательную гибель впоследствии? Но теперь, на мгновение, как античный мир для людей Ренессанса, древнее русское

искусство встало во всей полноте и яркости перед нашими глазами. Оно кажется сейчас так ярко, так современно, дает столько ясных и непосредственных отсветов на современные задачи живописи, что не только разрешает, но и требует подойти к нему не археологически, а эстетически, непосредственно.

Новизна открытия лежит прежде всего и главным образом в тоне и цвете икон. Никогда нельзя было предположить, что в коричневой могиле олифы скрыты эти сияющие, светлые, земные тона. Господствующими тонами иконной живописи являются красный и зеленый: все построено на их противоположениях, на гармониях алой киновари с зеленоватыми и бледно-оливковыми, при полном отсутствии синих и темно-лиловых. О чем это говорит?

У красок есть свой определенный символизм, покоящийся на вполне реальных основах. Возьмем три основных тона: желтый, красный и синий. Из них образуется для нас все видимое: красный соответствует цвету земли, синий — воздуха, желтый — солнечному свету. Переведем это в символы. Красный будет означать глину, из которой создано тело человека — плоть, кровь, страсть. Синий — воздух и дух, мысль, бесконечность, неведомое. Желтый — солнце, свет, волю, самосознание, царственность. Дальше символизм следует законам дополнительных цветов. Дополнительный к красному — это смешение желтого с синим, света с воздухом — зеленый цвет, цвет растительного царства, противопоставляемого — животному, цвет успокоения, равновесия физической радости, цвет надежды. Лиловый цвет образуется из слияния красного с синим. Физическая природа, проникнутая чувством тайны, дает молитву.

Когда ближе присматриваешься к самой технике иконного письма, то испытываешь глубокую художественную радость от простоты и наглядности технических приемов. Подкупает последовательность работы, метод, которого так не хватает живописи в наши дни. Хочется представить себе, какие результаты дал бы иконный подход к человеческому лицу, если применить его к современному портрету.

Есть одно требование, которое никогда не удовлетворяется современным искусством: хочется, чтобы художественная работа была так последовательно распределена, чтобы в любой стадии своего развития она давала законченное впечатление. Башни Парижской Notre Dame могли бы еще продолжаться вверх суживающимися восьмигранниками, между тем они вполне закончены в том виде, в каком они есть. Точ-

но так же и любой недостроенный готический собор.

Эта возможность остановить работу в любой момент есть и у иконописного метода. Когда иконописец прежде всего намечает общую линию фигуры и заливает ее одним санкирным тоном - он сразу выявляет характерный силуэт, существующий уже сам в себе. Намечая черты лица, он как бы приближает эту далекую тень на один шаг к зрителю. Начинается процесс разбелки. Яичный желток дает прозрачность даже белилам. Пробеляя санкирный тон прозрачным слоем белил там, где падает свет, иконописец как бы погашает дневным светом внутреннее горение вещества плоти... Во время этих последовательных пробелок, лежащих одна на другую, лик постепенно выделяется из мглы и шаг за шагом приближается к зрителю. От художника вполне зависит остановить его на той степени приближения, которая ему нужна. Он может с математической точностью довести его из глубины вплоть до поверхности иконы, может, если надо, вывести вперед за раму, может оставить его отодвинутым далеко в глубине. Здесь падают все вопросы о законченности или незаконченности: все сводится к степени удаления или приближения. Фигура с самого начала работы постепенно «идет» на художника, он должен только знать, на какое расстояние ему надо «подпустить» ее.

«Аполлон», 1914 г., №15

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ПРИЗНАКИ ХАОСА

Наша жизнь - безумие. Сама наука - только найденный ритм безумия. Спокойная маска на воспаленном лице. Загляни сквозь нее «в пустых очей ночную муть»: тот же хаос бесцельности, что и в бешеном беге прохожих, мчащихся вдоль улиц неизвестно куда. Хаос души сливается с хаосом жизни, и не один безумец прячется под маской ученого, инженера или механика.

Хаос всегда за спиной у героев рассказов Л. Андреева. И по мере того, как рос этот крупный талант, хаос дерзновенный вырастал в его произведениях, и когда герои его проходили по комнатам, хаос плясал на стенах их уродливыми тенями. Наконец, скрылись люди и остались тени, неожиданно распластанные по всем направлениям. И безумны были их изломы. И вот в рассказе «Призраки» сорвана последняя маска обманной здравости, полнозвучней, чудесней звучит в ней песнь торжествующей ночи. Люди вдруг превратились в карандаши, которыми чьи-то невидимые руки зачертили причудливые арабески: можно ли говорить о вменяемости, когда один не знает, почему на мировом свитке он чертит ослиные уши, другой - ангельские крылья. Удивляешься, как сохранились в этом круговороте безумия какие-то призрачные нормы здравости, дающие повод к лишению свободы тех, кто неосторожно вздумал переступить порог призрака и попить тень ногами...

«Весы», 1905, N 3.

СИМВОЛИЗМ КАК МИРОПОНИМАНИЕ

I

Еще недавно думали - мир изучен. Всякая глубина исчезла с горизонта. Простиралась великая плоскость. Не стало вечных ценностей, открывавших перспективы. Все обесценилось. Не исчезло стремление к дальнему в сердцах. Захотелось перспективы. Опять запросило сердце вечных ценностей...

Не событиями захвачено все существо человека, а символами иного. Музыка идеально выражает символ. Символ поэтому всегда му-

зыкален. Перевал от критицизма к символизму неминуемо сопровождается пробуждением духа музыки. Дух музыки - показатель перевала сознания. Не к драме, ко всей культуре, обращен возглас Ницше: «Увенчайте плющем чело ваше, возьмите в руки тирсы и не дивитесь, если тигры и пантеры, ластясь, лягут у ваших ног... вы должны сопровождать дионисианское торжественное шествие от Инда»... Современное человечество взволновано приближением внутренней музыки к поверхности сознания. Оно захвачено не событием, а символом иного. Пока иное не воплотится, не проявятся волнующие нас символы современного творчества. Только близорукие в вопросах духа ищут ясности в символах. Душа не звучит их - не узнают они ничего.

К тому, что было прежде времен, к тому, что будет, обращен символ.

Из символа брызжет музыка. Она минует сознание. Кто не музыкален, тот ничего не поймет.

Символ пробуждает музыку души. Когда мир придет, в нашу душу, всегда она зазвучит. Когда душа станет миром, она будет вне мира. Если возможно влияние на расстоянии, если возможна магия, мы знаем, что ведет к ней. Усилившееся до непомерного музыкальное звучание души - вот магия. Чарует душа - музыкально настроенная. В музыке чары. Музыка - окно, из которого льют в нас очаровательные потоки Вечности и брызжет магия.

Искусство есть гениальное познание. Гениальное познание расширяет его формы. В символизме, как методе, соединяющем вечное с его пространственными и временными проявлениями, встречаемся с познанием Платоновых идей. Искусство должно выражать идеи. Всякое искусство по существу символично. Всякое символическое познание идейно. Задача искусства, как особого рода познания, неизменна во все времена. Меняются способы выражения. Развитие философского познания, доказательством от противного, ставит его в зависимость от познания откровением, познания символического. С изменением теории познания меняется отношение к искусству. Оно уже больше не самодовлеющая форма; оно и не может быть призвано на подмогу утилитаризму. Оно становится путем к наиболее существенному познанию - познанию религиозному. Религия есть система последовательно развертываемых символов. Такого его первоначальное, внешнее определение. Совершающемуся перевалу в сознании соответствует изменение способа выражения символов искусства. Важно бросить взгляд на харак-

тер этого изменения.

Характерной чертой классического искусства является гармония формы. Эта гармония накладывает печать сдержанности в выражении прозрений Гете и Ницше, часто об одном. Где первый как бы случайно приподнимает уголок завесы, обнаружив глубину, второй старается выбросить глубину на поверхность, усиленно подчеркивая ее феноменальное обнаружение. Гениальные классические произведения имеют две стороны: лицевую, в которой дается его доступная форма, и внутреннюю; о последней существуют лишь намеки, понятные избранным. Толпа, довольная понятным для нее феноменализмом событий, рисовки, психологии, не подозревает внутренних черт, которые служат фоном описываемых явлений; эти черты доступны не многим. Таков аристократизм лучших образцов классического искусства, спасающегося под личиной обыденности от вторжения толпы в его сокровенные глубины. Такие образцы суть источники и глубины, и плоскости одновременно. Здесь удовлетворяется и масса, и избранные. Такая двойственность неизбежно вытекает из самой двойственности критицизма; она образуется также от нежелания гениев, чтобы их символы служили предметом догматических кривотолков рационализма, утилитаризма и т.д. Здесь и презрение к «малым сим», и аристократическая ирония над слепыми, которые, хотя и не видят, но хвалят, и кокетство перед избранными духа. «Фауст» понятен всем. Все единогласно называют «Фауста» гениальным произведением искусства; между тем теософские бездны «Фауста» часто скрыты от современных любителей всевозможных бездн - поклонников нового искусства. И, однако, эти поклонники понимают вторжение бездн в Заратустре, ломающее внешнее очертание образов и отчетливость мысли. В этом отношении новое искусство, являясь посредником между глубинным пониманием немногих и плоским пониманием толпы, скорее демократично. Задача нового искусства не в гармонии форм, а в наглядном уяснении глубин духа, вследствие чего оно кричит, заявляет, приглашает задуматься там, где классическое искусство повертывало спину «малым сим». Такое изменение способа выражения стоит в связи с изменением теории познания, согласно которому познание во временном вечного перестает казаться невозможным. Если это так, искусство должно учить видеть Вечное; сорвана, разбита безукоризненная окаменелая маска классического искусства. По линиям разлома выползают отовсюду глубинные созерцания, насыщают образы, ломают их, так как осознана относительность образов. Образы пре-

вращаются в метод познания, а не в нечто самодовлеющее. Назначение их не вызвать чувство красоты, а развить способность самому видеть в явлениях жизни их преобразовательный смысл. Как скоро эта цель достигнута, эти образы не имеют уже никакого значения; отсюда понятен демократический смысл нового искусства, которому, несомненно, принадлежит близкое будущее. Но когда это будущее станет настоящим, искусство, приготовив человечество к тому, что за ним, должно исчезнуть. Новое искусство менее искусство. Оно - знамение, предтеча.

Изменение способа выражения искусства совершается постепенно. Современное искусство при таком изменении часто шло ощупью. Многие спотыкались на этом пути. Артезианские воды, пробиваясь наружу, бьют грязью.

Только потом солнце зажигает чистоту водного хрусталя миллионами рубинов. Не следует быть жестоким по отношению к тем, кто шел впереди. Ведь по их израненным телам мы идем. Благодарение и жалость! Да замолчит всякая хула! Ведь Ницше между ними. А то как бы наша рука, занесенная над страдальцем, не опустилась машинально, когда мертвенно бледная, тернием увенчанная голова с нависшими усами, с грозой в челе - вся озаренная - вдруг закивает укоризненно - горько - как бы эта голова не открыла глубокие очи, чтобы пронзить ясным взором обезумевшую душу. Как бы не сожгла нас багряница «Дидониса распятого», как бы не растерзали ластящиеся к нему пантеры.

Следует доверчиво взглянуть на покойника, чтобы пантеры превратились в кротких кошек. А образ его так задумчиво взирает на нас из бессмертных далей. О детском счастье говорит нам его детский взор - о белом острове детей, омытом лазурью.

Тише! Это - священная могила.

II

... Соединение вершин символизма, как искусства, с мистикой Владимир Соловьев определял особым термином. Термин этот - теургия. «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их богом», - говорит господь. Теургия - вот что воздвигает пророков, вкладывает в уста их слово, дробящее скалы.

Мудрость Ницше на более углубленной, сравнительно с трагизмом,

стадии понимания можно определить как стремление к теургии. И отдельные места этой мудрости явно сквозят теургизмом. Если в символизме мы имеем первую попытку показать во временном вечное, в теургии - начало конца символизма. Здесь уже идет речь о воплощении Вечности путем преображения воскресшей личности. Личность - храм божий, в который вселяется господь: «вселюсь в них и буду ходить в них» (Левит, XXVI, 12).

Догматика христианства отвергнута Шопенгауэром. Житейская техника - Ницше. Утверждая личность как сосуд, вмещающий божество, а догмат как внешне очерченный круг, замыкающий путь, бесконечно продолженный, не разрывая связи с вершинами ницшеанства, но стараясь изнутри преодолеть их, как Ницше преодолел Шопенгауэра, - христиане - теурги надеются на близость новой благовести, указание на которую встречается в Писании. Разрешение вековых загадок бытия переносится по ту сторону ницшеанства. Под мину подводится контрмина. Но и ужас здесь. Дух захватывает. Ведь за Ницше - обрыв. Ведь это так. И вот, сознавая безнадежность стояния над обрывом и невозможность возврата в низины мысли, надеются на чудо полета. Когда летательные машины еще не усовершенствованы, полеты вообще опасная вещь. Недавно погиб Лилиэнताल - воздухоплаватель. Недавно мы видели неудачные, в глазах многих, полет и гибель другого воздухоплавателя Ницше - Лилиэнталя всей культуры. Понимание христианства теурами невольно останавливает внимание. Или это последняя трусость, граничащая с бесстрашием, - скачок (потому что ведь только каменные козлы на рога бросаются в бездну), или это пророческая смелость неопитов верующих, что в момент падения вырастут спасительные крылья и понесут человечество над историей. Задача теургов сложна. Они должны идти там, где остановился Ницше, - идти по воздуху. Вместе с тем они должны считаться с теософским освещением вопросов бытия и не идти вразрез с исторической церковью. Тогда, быть может, приблизятся горизонты ницшевских видений, которых сам он не мог достигнуть. Он слишком вынес перед этим. Слишком длинен был его путь. Он мог только усталый прийти к берегу моря и созерцать в блаженном оцепенении, как заревые отсветы туч несутся в вечернем потоке лучезарных смарагдов. Он мог лишь мечтать на закате, что это - ладьи огненного золота, на которых следует уплыть: «о, душа моя, изобильна и тяжела стоишь ты теперь, виноградное дерево с темно-золотистыми гроздьями, придавленная своим счастьем. Смотри, я сам улыбаюсь, - пока по тихим тоскующим морям не понесется челнок, золотое чуд о» (Заратустра).

Уплыл ли Ницше в голубое море? Нет его на нашем горизонте. Наша связь с ним оборвана. Но и мы на берегу, а золотая ладья еще плещется у ног. Мы должны сесть в нее и уплыть. Мы должны плыть и тонуть в лазури.

Одни из нас обращены к прошлому, где старинное золото сжигается во время солнечных потоков. В их очах убегающее солнце, и о сожженном золоте, быть может, они плачут.

*Золотая, эфир просветится
И в восторге сгорит,
А над морем садится
Ускользящий солнечный ицит.
И на море от солнца
Золотые дрожат языки.
Всюду отблеск червонца
Среди всплесков тоски.
Встали груди утесов
Среди трепещущей солнечной ткани.
Солнце село. Рыданий
Полон крик альбатросов.
Дети солнца! Вновь холод бесстрастья:
Закатилось оно - золотое, старинное счастье,
Золотое руно.*

Бесконечно веря в чудо полета, другие могут ответить им:

*Зовут аргонавты
На солнечный пир,
Трубя в золотеющий мир.
Внимайте, внимайте:
Довольно страданий.
Броню надевайте
Из солнечной ткани!
Все небо в рубинах,
Над ними.
На горных вершинах*

Наш Арго:

*Наш Арго,
Готовясь лететь, золотыми крылами
Забил.*

Мир искусства, 1904, №5. Весы, 1905 г., №4

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

АПОКАЛИПСИС В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Панмонголизм!

Вл. Соловьев

Предчувствую Тебя.

А. Блок

I

Нет никакой раздельности. Жизнь едина. Возникновение многого только иллюзия. Какие бы мы не устанавливали перегородки между явлениями мира - и перегородки невещественны и немыслимы прямо. Их создают различные виды отношений чего-то единого к самому себе. Множественность возникает как опосредствование единства, - как различие складок все той же ткани, все тем же оформленной. Сорвана вуаль с мира - и эти фабрики, люди, растения исчезнут; мир, как спящая красавица, проснется к цельности, тряхнет жемчужным кокошником; лик вспыхнет зарею; ланиты - как снеговые тучки; уста - огонь. Встанет - засмеется красавица. Черные тучи, занавесившие ее, будут пробиты ее лучами; они вспыхнут огнем и кровью. обозначится на них очертание дракона; вот побежденный красный дракон будет рассеян среди чистого неба.

I

Стояла весна 1900 года. Темное крыло грядущего затенило дни, и в душе поднялись тревожные сновидения. Человечеству открылся единственный путь. Возник контур религии будущего. Пронеслось дыхание Вечной Жены.

Лекция Соловьева «О конце всемирной истории» поразила громом. Но великий мистик был прав. Помню его с бездонно устремленными очами, с волосами, разметавшимися по плечам, иронически-спокойного с виду, задумчивого, повитого тучей огня. Резко, отчетливо вырывались слова его брызгами молний, и молнии пронзили будущее; и сердце пленялось тайной сладостью, когда он уютно склонял над ру-

копией свой лик библейского пророка; и картина за картиной вставляли среди тумана, занавесившего будущее. Обозначился ряд ледяных пиков, крутых снегоблещущих гор, по которым мы должны будем пройти, чтобы не свалиться в пропасть. А из черных провалов взвизывал дым туч; люди солнца, обливая тучи кровью, являли в дымах грядущий лик воспламененного яростью дракона.

Но с бессмертных высот платонизма и шеллингизма Соловьев увидел розовую улыбку Мировой Души. Он понял и сладость «Песни Песней», и знаменье «Жены, облеченной в солнце». И вот, с философских высот, сошел в этот мир, чтоб указать людям на опасности, им грозящие, на восторги, им неведомые. И в уютных комнатах раздавался его рыкающий глас, и длинные руки лихорадочно перелистывали страницу за страницей. Боролся с ужасом, сильный и властный; казалось, точно перевертывал не страницы, но срывал маску с утаенной врагом истины. И маска за маской слетали; и маска за маской рассыпались туманным прахом. *И зажегся прах. И злое земного огня разгорелось. Но «все, кружась, исчезло во мгле»* - и вот мы сидели за чайным столом, и он, окончив чтение, оглашал стены безумно детским хохотом, прислушиваясь к шуткам. Но виденья, им вызванные, грозились в высенних окнах золотыми зарницами.

Меня поразила не столько сама «Повесть об антихристе», сколько слова действующих лиц: «А я вот с прошлого года стала тоже замечать, и не только в воздухе, но и в душе; и здесь нет полной ясности... *Все какая-то тревога и как будто предчувствие какое-то зловещее*» («Три разговора»). В этих словах я прочел все неуяснимое доселе в своих личных переживаниях. Я обратился к Владимиру Сергеевичу с вопросом о том, сознательно ли он подчеркивает слова о тревоге, подобно дымке, опоясавшей мир. И Владимир Сергеевич сказал, что такое подчеркивание с его стороны сознательно. Впоследствии слова о «дымке» подтвердились буквально, когда разверзлось жерло вулкана и черная пыль, подобно сети, распространилась по всей земле, вызывая «пурпуровое свечение зорь» (Мартиника). Еще тогда я понял, что причины, являющие перед глазами эту сеть, брошенную на мир, находятся в глубине индивидуального сознания. Но глубины сознания покоятся в универсальном, вселенском единстве. Еще тогда я понял, что дымка, занавесившая духовный взор, падет на Россию, являя вовне все ужасы войн и междоусобий. Я ждал извне признаков, намекающих на происходящее внутри. Я знал: над человечеством разорвется фейерверк хи-

мер.

И действительность не замедлила подтвердить эти ожидания: раздались слова Д. С. Мережковского об апокалиптической мертвенности европейской жизни, собирающейся явить Грядущего Хама. Появился новый тип, воплотивший в себе хаос, вставший из глубин, - тип хулигана. Грозно вырос призрак монгольского нашествия. Над европейским человечеством пронесся вихрь, взметнул тучи пыли. И стал красен свет, занавешенный пылью: точно начался мировой пожар. Еще Ницше накануне своего помешательства предвидел всемирно-историческую необходимость всеобщей судороги, как бы гримасы, скользнувшей по лицу человечества. «Мировая гримаса» - маска, надетая на мир, ужаснула и Вл. Соловьева. Мережковский указал на мировое безумие, подтачивающее человечество. Хаос изнутри является нам как безумие, извне — как раздробленность жизни на бесчисленное количество отдельных русл. То же в науке: неумелая специализация порождает множество инженеров и техников с маской учености на лице, с хаотическим безумием беспринципности в сердцах. Безнравственное приложение науки создает ужасы современной войны с Японией - войны, в которой видим явившийся нам символ встающего хаоса. Просматривая брошюру Людовика Нодо «Они не знали», узнаем, что все наши военные операции - сплошной оптический обман. Япония - маска, за которой - невидимые. Вопрос о победе над врагами тесно связан с перевалом в сознании, направленным к решению глубочайших мистических вопросов европейского человечества.

Соловьев глубоко провидел мировой маскарад, участниками которого мы являемся. Дымка, носившаяся в воздухе, после смерти Соловьева, правда, осела, как бы прибитая дождем. Небо глубочайших душевных глубин очистилось. Там замелькали нам чьи-то вечные, лазурно успокоенные очи, но зато пыль, носившаяся в небе, осела на все предметы, пала на лица, резко очерчивая, почти искажая естественные черты, создавая невольный маскарад.

Вихрь, поднявшийся в современной России, взметнувший пыль, должен неминуемо создать призрак красного ужаса - облако дыма и огня, - потому что свет, пронизывая пыль, зажигает ее. Следует помнить, что призрак красноты дракон, несущийся на нас с Востока: это туманные облака, а не действительность; и войны вовсе нет: она - порождение нашего больного воображения, внешний символ в борьбе вселенской души с мировым ужасом, символ борьбы наших душ с химерами и гид-

рами хаоса. Тщетна борьба с ужасной гидрой: сколько бы мы ни срубили змеиных голов, вырастут новые. пока мы не поймем, что самая гидра призрачна; она - Маска, наброшенная на действительность, за которой прячется Невидимая; пока мы не поймем, что Маска призрачна, она будет расти, слагая кровавые всемирно-исторические картины: извне налетающий дракон соединится с красным петухом, распластавшим крылья над старинными поместьями в глубине России; все потонет в море огня. Призрак будет смеяться. И «красный смех» его подожжет вселенную. Светопреставление для ослепленных ужасом - ведь оно только мировой «красный смех» ужаса.

Упрекают Л. Андреева в субъективизме: вместо того, чтобы описывать массовое движение войск или бытовую картину войны, он будто грезит, но в этом его проникновение в современность. Вот слова очевидца войны: «В современной войне все таинственно, рассеяно, далеко, невидимо, отвлеченно; это - борьба жестов, воздушной сигнализации, электрических или гелиографических сношений... Приблизьтесь к сражающимся - и вы ничего не увидите пред собой... А если это батарея, то, укрытая за какой-нибудь складкой почвы, он, кажется, без цели и смысла палит в пространство... Вы постоянно обмануты фантазмагорией... Это - война... невидимая, бесформенная, скрытая... Кто взял Ляоян? Японская армия? Да, конечно, японская армия, но с помощью кошмара... Потребность в надежде, иллюзия, апатия, фантазия... небылицы... незнание действительности - вот из чего состояла первая компания» (Людовик Надо). Узнать *действительность* - значит сорвать маску с Невидимой, крадущейся к нам под многими личинами. Соловьев пытался указать нам на благовидную личину лжи, накинутаую врагом на лик Той, Которая соединит разъединенные небо и землю наших душ в несказанное единство. Только заревые лепестки вечных роз могут утишить жгучесть адского пламени, лижущего теперь мир. Вечная Жена спасает в минуты смертельной опасности. Недаром вечно женственный образ Брунгильды опоясан огненной рекой. Недаром ее сторожит Фафнер, чудовищный дракон. Соловьев указал на личину безумия, грядущего в мир, и призывал всех буруемых призраком углубиться, чтобы не сойти с ума. Но углубиться к вечно женственным истокам Души - значит явить лик Ее перед всеми. Тут начинается теургическая мощь его поэзии, в которой соприкоснулись фетовский пантеизм, лермонтовский индивидуализм с лучезарными прозрениями христианских гностиков.

Я не видел Соловьева после незабвенного для меня вечера, но мне многое открылось с той поры. Я не понимал в Соловьеве вечных обращений к Лучезарной Подруге, но заря, опоясавшая горизонт, усмиряла тревоги. Я понял, что эти тревоги не относятся лично ко мне, но и всем угрожают. В те дни я понял всемирность заревых улыбок и лазурь небесных очей. Я начал понимать, что как в современной войне все таинственно, рассеяно, далеко, невидимо, отвлеченно, как и в мистических волнах, прокатившихся в мире для того, чтобы столкнуться в борьбе: эта борьба начинается не с поступков, реализованных видимостью, а с борьбы жестов, воздушной сигнализации. Все начинается с мгновенных немых зарниц. Но растут зарницы. Немога их раздражается громами. Тогда начинается реализация вспыхнувших символов: символами становятся окружающие нас предметы, появляются люди-маски. Наконец, маски спадают, и перед нами проходят лица, запечатленные зарей. Она воплощается в мир. Тают ледяные оковы мрака. Сердце слышит полет весны...

III

Цель поэзии - найти лик музы, выразив в этом лике мировое единство вселенской истины. Цель религии - воплотить это единство. Образ музы религией превращается в цельный лик Человечества, лик Жены, облеченный в Солнце. Искусство поэтому - кратчайший путь к религии: здесь человечество, познавшее сущность, объединяется единством Вечной Жены: творчество, проведенное до конца, непосредственно переходит в религиозное творчество - теургию. Искусство при помощи мрамора, красок, слов создает жизнь Вечной Жены; религия скрывает этот покров. Можно сказать, что на каждой статуе, изваянной из мрамора, почиет улыбка Ее и наоборот: Она - Мадонна, изваянная в веках. Первоначальный Хаос, слагающий по законам свободной необходимости, обожествляется, становясь Ее телом. Если Человечество - реальнейшее всеединство, то народность является первым ограничением Человечества. Здесь перед нами выход к единству при свободном и самостоятельном развитии народных сил. Образ музы должен увенчать развитие национальной поэзии.

Развитие русской поэзии от Пушкина до наших дней сопровождается троякой переменой ее первоначального облика. Три покрыва срываются с лица русской музы, три опасности грозят Ее появлению. Пер-

вый покров срывается с пушкинской музы; второй - с музыки Лермонтова; совлечение третьего покрова влечет за собой явление Вечной Жены. Два русла определенно намечаются в русской поэзии. Одно берет свое начало от Пушкина. Другое - от Лермонтова. Отношением к тому или иному руслу определяется характер поэзии Некрасова, Тютчева, Фета. В. Соловьева, Брюсова и, наконец, Блока. Эти имена и западают глубоко в нашу душу: талант названных поэтов совпадает с providенциальным положением их в общей системе развития национального творчества. Поэт, не занятый разгадкой тайн пушкинского или лермонтовского творчества, не может нас глубоко взволновать.

Пушкин целостен. Всецело он извне охватывает народное единство. Под звуки его лиры перед нами встает Россия с ее полями, городами, историей. Он *совершенно* передает всечеловеческий идеал, заложенный в глубине народного духа, отсюда способность его музыки перевоплощаться в какую угодно форму. Бессознательно указаны глубокие корни русской души, простирающейся до мирового хаоса. Но целостность пушкинской музыки еще не есть идеальная цельность. Лик его музыки еще не есть явленный образ русской поэзии. За व्यогой еще не видать Ее: хаос метелей еще образует вокруг Нее покров. Она еще «спит в гробе ледяном, зачарованная сном»... Пушкинской цельности не хватает истинной глубины, эта цельность должна раздробиться, отыскивая дорогу к зачарованной красавице. Элементы ее, сложившие нам картину народной цельности, должны быть перегруппированы в новое единство. Этим требованием всецело намечается путь дальнейших преемников пушкинской школы: в глубине национальности приготовить нетленное тело Мировой Души; неорганизованный хаос - только он есть тело организующего начала. Пушкинская школа должна поэтому приблизиться к хаосу, сорвать с него покрывало и преодолеть его. Продолжатели Пушкина - Некрасов и Тютчев - дробят цельное ядро пушкинского творчества, углубляя части раздробленного единства.

Проникновенное небо русской природы, начертанное Пушкиным, покрывается тоскливыми серыми облаками у Некрасова. Исчезают глубокие корни, связывающие природу Пушкина с хаотическим круговоротом: в сером небе Некрасова нет ни ужасов, ни восторгов, ни бездн - одна тоскливая грусть; но зато хаос русской действительности, скрывавшийся у Пушкина под благопристойной шутиливой внешностью, у Некрасова обнаружен отчетливо.

Наоборот: пушкинская природа у Тютчева становится настолько

прозрачной, что под ней уже явно:

Мир бестелесный, страшный, но незримый

Теперь роится в хаосе ночном...

Прилив растет и быстро нас уносит

Неизмеримость темных волн...

И мы плывем, пылающею бездной

С'o всех сторон окружены...

Тютчев указывает нам на то, что глубокие корни пушкинской поэзии произвольно выросли в мировой хаос: этот хаос так страшно глядел еще из пустых очей трагической маски Древней Греции, углубляя развернутый полет мифотворчества. В описании русской природы творчество Тютчева произвольно перекликается с творчеством Эллады: так странно уживаются мифологические отступления Тютчева с описанием русской природы:

Как будто ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила.

Пушкинское русло в Тютчеве своеобразно раздробляется. Отныне оно направляется: 1) к воплощению хаоса в формах современной действительности; 2) к воплощению хаоса в формах античной Греции.

Представителем первого направления является В. Брюсов. Представителем второго - Вяч. Иванов, в поэзии которого нам звучат под античными школьными образами близкие ноты.

Здесь обнаруживается, что путь от внешнего изображения народной цельности к отысканию идеального нетленного тела русской музыки лежит через индивидуализм. В глубинах духа, «там, где ужас многоликий» (Брюсов), происходит встреча и борьба. Но и Некрасов по-своему указывает на хаос внешних условий русской жизни. Раскол пушкинского единства выражается у Некрасова и Тютчева в том, что оба они жаждут и не могут соприкоснуться с поверхностью течения русской действительности. Они стремятся вогнать свою поэзию в узкие рамки тенденции: Некрасов - народнической, Тютчев - славянофильской. Кроме того, Тютчев - поэт-политик и аристократ, Некрасов - гражданин. В гражданственности Некрасова, однако, находим своеобразно преломленный байронизм и печоринство: — тут обнаруживается его связь с Лермонтовым, о которой приходится упомянуть ниже. С другой стороны, и тют-

чевская струна аристократизма прерывается глубоко народническими струнами:

*Эти бедные селенья,
Эта скудная природа -
Край родной долготерпенья.
Край ты русского народа!*

Тютчев еще боялся хаоса: «О, бурь уснувших не буди: под ними хаос шевелится». Его хаос звучит нам издали, как приближающаяся ночная буря. Его хаос - хаос стихии, не воплотившийся в мелочи обыденной жизни. С другой стороны, хаотическая картина русской жизни еще поверхностно нарисована Некрасовым. И у Тютчева, и у Некрасова хаос глубин не сочетается еще с хаосом поверхностей так, чтобы образы видимости образовали стихии, и, наоборот, чтобы повседневные образы служили намеками стихийности. Кроме того, тютчевский славянофильский аристократизм должен сочетаться с некрасовской гражданственностью в одном пункте земляного титанизма. Прежде, нежели будет найдено нетленное, земляное тело русской поэзии, должно совершиться последнее восстание земляных гигантов. И оно совершается: стихийные силы разражаются в поэзии Брюсова землетрясением. В стихийные глубины мятущегося духа Брюсов вносит сплетения внешних условий жизни. С другой стороны, влагая хаотическое содержание в свои четкие, подчас сухие образы, он с каждым шагом подходит к некоей внутренней цельности. Тут обнаруживается его кровная связь с Пушкиным: начало XIX века подает руку началу XX. Благодаря Брюсову, мы умеем теперь смотреть на пушкинскую поэзию сквозь призму тютчевских глубин. Эта новая точка зрения открывает множество перспектив. Замыкается цикл развития пушкинской школы, открывается провиденциальность русской поэзии.

Безраздельная цельность брюсовской формы, рисующая землю, тело, лишена, однако, огня религиозных высот. Прекрасное тело его музы еще не оживлено, оно механизировано хаосом - это автомат, движимый паром и электричеством. Здесь мы имеем дело с паровым воскресением мертвых. Его муза подобна бесноватой. Она ждет исцеления в стране Гадарринской. Ее равно восторженное отношение и к Богу, и к дьяволу чисто звериное: «Явись наш Бог и полужверь!» Если творность музы Брюсова понимать в смысле сотворенности, у ее подножия

могут явиться и луна, и звезды, как у Жены, облеченной в Солнце. Если же тварность эта явно склонится в сторону «зверства», ее подножием будет багряный зверь - это будет Великая Блудница. И образ Лучезарной Жены, противопоставленный зверю, рожден в глубине другого русла русской поэзии, берущего начало от Лермонтова.

Русская поэзия связана с западноевропейской. Эта последняя увенчана мировыми символами: таков символ вечной женственности, представленный образом Беатриче, Маргариты и т. д. Таков символ Прометей, Манфреда. Эти символы даны под покровом эстетизма. Русская поэзия, заимствуя в лице Лермонтова основные черты западноевропейского духа, своеобразно преломляет их восточной мистикой, глубоко зароненной в русскую душу. Западные европейские формы извне выражают мистическое переживание Востока. У Лермонтова мы видим столкновение двух способов отношения к действительности. Индивидуализм борется с универсализмом. Предстоит или порабощение мистики эстетикой, или обратное, или же мистика сочетается с эстетикой в теургическом единстве религиозного творчества. В последнем случае предстоит рождение из глубины поэзии новой, еще неизвестной миру религии.

Отсюда трагический элемент поэзии Лермонтова, рождающей, с одной стороны, образ Демона, Маргариты-Тамары, нежной заревой улыбки и глаз, полных лучезарного огня, с другой стороны, являющей скушающий облик Печорина, Неизвестного и Незнакомки, всю жизнь глядящей на Лермонтова «из-под таинственной холодной полумаски». Эстетическая личина глубочайшего мирового символа, явившаяся перед Ницше как трагическая маска, при столкновении этого символа с религиозным творчеством восточной мистики превращается у Лермонтова в *полумаску*. Но полумаска должна быть сорвана, ибо она - марево, которым враг старается скрыть истинную природу Вечной Жены. *Помеицик*: «Не знаю, что это такое: зрение ли у меня туманится от старости, или в природе что-нибудь делается... Ни одного облачка, а все как будто чем-то подернуто...» *Генерал*: «А еще вернее, что это черт своим хвостом туман на свет Божий намахивает» («Три Разговора»). Много этого серого тумана в «Сказке для детей». Демонизм Лермонтова, обволакивающий туманом лик Незнакомки, должен рассеяться, выродиться, ибо подлинная природа Демона, по глубокому прозрению Мережковского, есть мещанская срединность - серость. Этот демонизм рождается в поэзии Некрасова, заменяясь гражданственностью. Тут пуш-

кинское русло русской поэзии принимает искаженный налет лермонтовского демонизма. Сорванная маска рассыпается пылью и пеплом.

С другой стороны, в попытке примирить трагический индивидуализм Лермонтова с универсализмом вырастает пессимистический пантеизм Фета. Фет берет лермонтовские символы и придает им окраску пантеизма. Если для Лермонтова заря - покров, под которым укрыты «черты иные» Вечной Незнакомки, Фет, наоборот, в замирающем голосе узнает зарю.

*За рекой замирает твой голос, горя,
Точно за морем ночью заря.*

Освобождение от личной воли в эстетическом созерцании воли мира - основное настроение фетовской поэзии. Здесь поэзия является выразительницей пессимистической доктрины. Но сама пессимистическая доктрина является перевалом от философии к поэзии. Западно-европейские образы творчества в русской поэзии стремятся соприкоснуться с мистическими переживаниями и явить образа обновленной религии. Вот почему пессимистический покров Фета произвольно связан с глубиной лермонтовского трагизма, а у Гейне разрывается между бесплотным романтизмом и бесцельным скептицизмом. Вот почему Фет глубже, чем Гейне. Впрочем, поэзия Фета является нам не как дальнейшее развитие поэзии Лермонтова, а лишь побочным дополнением: она - соединительное русло между Лермонтовым и европейской философией. Отныне поэзия и философия нераздельны. Поэт отныне должен стать не только певцом, но и руководителем жизни. Таков был Вл. Соловьев.

Из глубин пессимизма Соловьев пришел к религиозным высотам. Он соединил поэзию с философией. Пышность фетовского пантеизма является для Соловьева покровом, под которым лермонтовский трагизм, очищенный посредством религии, являет ряды всемирно-исторических символов. Борьба двух начал, борющихся в душе человека, оказывается символом мировой борьбы. Освещая лирику Лермонтова вселенским сознанием, Соловьев неминуемо должен сорвать полумаску с лица Незнакомой Подруги, явившейся Лермонтову. Эту маску он срывает. Перед ним является Она в пустынях священного Египта лицом к лицу.

*Что есть, что было, что грядет веками, -
Все обнял тут один недвижный взор.*

Это *Все* оказалось *Единым* образом Женской красоты - Невестой Агнца. Сорванная полумаска оказалась серым облаком пыли. Исчезло обаяние лермонтовского демонизма: оказалось, что «это черт своим хвостом туман намахивает»: («Три разговора»). Согласно Мережковскому, черт этот с насморком, а хвост его - будто хвост датской собаки. Лермонтовский демонизм через Некрасова воплотился отныне в пушкинское русло. Это русло завершилось поэзией Брюсова, в которой поднимается Великая Блудница, восседающая на багряном звере. Но багряный зверь - только призрак, это пыль, зажженная солнцем. Прекрасное тело брюсовской музы оказывается призрачным под лучами Видения, посетившего Соловьева. Отсюда реальная действительность в описании Блока, этого продолжателя Соловьева, носит кошмарный оттенок. Механизированный хаос оказывается пустотой и ужасом, когда на него обращает свой взор *«Жена, облеченная в Солнце»*. Но Ее знамение еще пока только на небе. Мы живем на земле. Она должна сойти к нам на землю, чтобы земля сочталась с небом в брачном пиршестве. Она явилась перед Соловьевым в пустыне Египта, как София. Она должна приблизиться. Не теряя вселенского единства, она должна стать соединяющим началом - *Любовью*. Ее родиной должно быть не только небо, но и земля. Она должна стать организмом любви.

Но организация любви, сочетающая личность с обществом, должна иметь фокус в мистерии. Замечательно глубоко говорит Вяч. Иванов, что орхестра - необходимое условие мистерии - это средоточение форм всенародного голосования. Организация этих форм есть один из способов организации Любви. Указывая на дионисические основы общины будущего, Вяч. Иванов возводит общественность в религиозный принцип, указывая на трагический элемент общественных отношений. Этот же элемент связан с мировой трагедией, содержанием которой является борьба Жены со Зверем. Воплощенный образ Жены должен стать фокусом мистерии, воплощая в себе всеединое начало человечества. Жена, познанная Соловьевым, должна сойти с неба и облечь нас Солнцем жизни - мистерией. Хаос, воплощенный в поэзии Брюсова, должен стать телом Жены, сияющей в небесах.

Некрасовская гражданственность должна утвердиться на дионисическом стержне. Тютчевский хаос должен явить из тьмы свою светлую

дочь. Брюсовская муза да покинет страну Гадарры! Этой страной Гадарринской оказываются те места, где машинный американизм поет свои ужасные песни фабричными гудками, электрическими звонками и вечно лопающимися беззвучными гранатами, подвешенными на улицах к железным стержням, где трамвай, как железная ящерица, быстро бежит вдоль рельс. Здесь ее метрополия. Здесь она гуляет среди дымов и коноч.

С конки сошла она шагом богини.

..Значит, подножием ее служит железная ящерица - зверь? Но кто же она?

*Да! Я провидел тебя в багрянице,
В золотой диадеме... Надменной царицей
Ты справляла триумф в покоренной столице...*

Можно сказать, что Муза Брюсова направляется от конки к багрянице. Наоборот, Муза Блока, явившись нам в багрянице, направляется... к конке.

Тут между обеими музами начинается страшный дуэт: они встречаются глазами. Лучезарные лучи одной пронизывают «пустых очей ночную муть». У другой веет от губ «чем-то звериным, тишью пещер и пустынною скал». Между ними ползет кока - железная ящерица. Кругом стоят ратники Зверя и Жены. Недаром Блок говорит:

*Будут страшны, будут несказанны
Незаменимы маски лиц...*

Теперь должен быть сорван окончательный покров с русской поэзии. Истинные лица обозначатся вовек. Явится Та,

*...перед кем томится и скрежещет
Великий мат моей земли.*

В поэзии Блока мы повсюду встречаемся с попыткой воплощения сверхвременного видения в формах пространства и времени. Она уже среди нас, с нами, воплощенная, живая, близкая - эта узнаваемая наконец муза Русской Поэзии, оказавшаяся Солнцем, в котором пересеклись лучи новоявленной религии, борьба за которую да будет делом всей нашей жизни. Вот она сидит с милой и ясной улыбкой, как будто в

ней и нет ничего таинственного, как будто не ее касаются великие прозрения поэтов и мистиков. Но в минуту тайной опасности, когда душу обуревают безумие хаоса и так страшно: «*среди неведомых равнин*», ее улыбка прогоняет вьюжные тучи; хаотические столбы метели покорно ложатся белым снегом, когда на них обращается ее лазурный взор, горящий зарей бессмертия. И вновь она уходит, тихая, строгая, в «дальние комнаты». И сердце просит возвращений.

Она явилась перед Соловьевым в пустынях Египта. У Блока она уже появляется среди нас, неузнанная миром, узнанная немногими. Небесное видение соединяет в себе отныне небо и землю, отражается в жизненных мелочах. Но еще не вся жизнь подчинена ей. Еще кругом бунтует хаос, не ставший ее телом. Там, в хаосе, злобные силы, противоборствующие ее власти. Обращаясь к хаотической действительности, поэзия Блока превращается в кошмар: по городу бежит черный человечек, прибегает в дом, где все нестройно кричат у круглых столов, к утру на розовых облаках обозначается крест, а в весенних струйках у тротуара плывет безобразный карлик в красном фраке. Это и есть многоликий змей - дракон, собирающий против Нее свои Силы. Боясь Ее победы над миром, он преследует Ее и Ее Обитали.

Лермонтовская и пушкинская струи русской поэзии, определившись в Брюсове и Блоке, должны слиться в несказанное единство. Но как? Путем ли свободного соединения или подчинения? В последнем случае предстоит борьба двух реальностей. С одной стороны, цельность брюсовского реализма, с явно выраженной нотой астартизма, превращается поэзией Блока в сплошной кошмар, когда его муза смотрит на мир, не подчиненный ей. С другой стороны, реальнейшее всеединство Ее, с точки зрения Брюсова, оказывается бестелесным видением. По граням соприкосновения этих двух противоположных точек зрения начинается колебание, двойственность, закипает борьба, растут страхи, воскресают химеры античной Греции и безумно смеется красным смехом Горгона войны. «В современной войне все таинственно, рассеянно, далеко, невидимо, отвлеченно: это борьба жестов, воздушных сигнализаций, электрических и гелиографических сношений... Если это батарея, то, укрытая за какой-нибудь складкой почвы, она, кажется, без цели и смысла палит в пространство... Вы постоянно обмануты фантазмагорией» (Нодо). Фантазмагория, марево - вот что неизменно вырастает из соприкосновения двух противоположных начал мира. Красный ужас борьбы, хохочущий на сопках Маньчжурии, а также заголосивший между нами петух огня - все это

внешний покров вселенской борьбы, в которой тонут раздвоенные глубины наших душ. Все это - «маска красной смерти», в которую превращается «мировая гримаса», замеченная Ницше.

Вначале мы говорили, что три личины должны быть сорваны с Лица русской музыки. Первой слетает богоподобная личина пушкинской музыки, за которой прячется хаос. Второй - полумаска, закрывающая Лик Небесного Видения. Третья Личина - Мировая: это - «Маска Красной Смерти», обусловившая мировую борьбу Зверя и Жены. В этой борьбе - содержание всякого трагизма. Западноевропейская поэзия говорит нам извне об этой борьбе: трагизм - вот формальное определение апокалиптической борьбы. Русская поэзия, перебрасывая мост к религии, является соединительным звеном между трагическим мирозерцанием европейского человечества и последней церковью верующих, сплотившихся для борьбы со Зверем.

Русская поэзия обоими своими руслами углубляется в мировую жизнь. Вопрос, сию поднятый, решается только преобразованием Земли и Неба в град Новый Иерусалим. Апокалипсис русской поэзии вызван приближением Конца Всемирной Истории. Только здесь мы находим разгадку и лермонтовской и пушкинской тайн.

IV

Мы верим, что Ты откроешься нам, что впереди не будет октябрьских туманов и февральских желтых оттепелей. Пусть думают, что Ты еще спишь во гробе ледяном.

*Ты покоишься в белом гробу.
Ты с улыбкой зовешь: не буди.
Золотистые пряди на лбу,
Золотой образок на груди. (Блок)*

Нет. Ты воскресла.

Ты сама обещала явиться в *розовом*, и душа молитвенно склоняется перед Тобой, и в зорях - пунцовых лампадах - подслушивает дыхание Твое молитвенное.

Явись!

Пора: мир созрел, как золотой, налившийся сладостью плод, мир тоскует без Тебя.

Явись!

БРЮСОВ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Священная жертва

Весы, 1905 г., №1

*Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы суетного света
Он малодушно погружен.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон.
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Пушкин*

Пушкин, когда прочитал стихи Державина «За слова меня пусть ложет, за дела сатирик чтит», сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже дела его». Это рассказывает Гоголь, прибавляя: «Пушкин прав». Во времена Державина «слова» поэта, его творчество, казались *воспеванием* дел, чем-то сопутствующим жизни, украшающим ее. «Ты славою, твоим я эхом буду жить», - говорит Державин Фелице. Пушкин поставил «слова» поэта не только наравне с «делом», но даже выше: поэт должен благоговейно приносить «священную жертву», а в другие часы он может быть «всех ничтожней», не унижая своего высокого призвания. От этого утверждения лишь один шаг до признания искусства чем-то более реальным, чем жизнь, до теории, с грубой прямотой формулированной Теофилом Готье:

*Tout passe. - L'Art robuste
Seul a l'éternité.*

В стихах Пушкина уже звучит крик одного из предсмертных писем г-на Алексея Толстого: «Нет другой такой вещи, ради которой стоило бы жить, кроме искусства!»

У Пушкина, который так часто чутким слухом предугадывал будущую дрожь нашей современной души, - мало произведений, которые до такой степени были бы чужды, странны нам, как эти стихи о поэте!

Возвеличивая «слова» поэта, как Державин унижал их, Пушкин сходится с ним в уверенности, что это две области раздельные. Искусство не есть жизнь, а что-то иное. Поэт - двойственное существо, амфибия. То «меж детей ничтожных мира» он «вершит дел суеты» - играет

ли в банк, как «повеса вечно праздный», Пушкин, служит ли министром, как наперсник царей, Державин, - то вдруг, по божественному глаголу, он преображается, душа его вострепелась, «как пробудившийся орел», и он предстает, как жрец, пред алтарем. В жизни Пушкина эта разделенность доходила до внешнего разграничения способов жизни. «Почувствуй рифмы», он «убегал в деревню» (выражение самого Пушкина из письма), буквально «на берега пустынных волн, широкошумные дубравы». И вся пушкинская школа смотрела на поэтическое творчество теми же глазами, как на что-то отличное от жизни. Раздвоенность дошла даже до убеждений, до мирозерцания. Казалось вполне естественным, что поэт в стихах держится одних взглядов на мир, а в жизни иных. Можно с уверенностью сказать, что Лермонтов, написавший свою поэму о демоне, не верил в реальное существование демонов: демон для него был сказкой, символом, образом. Лишь очень немногие из поэтов того времени сумели сохранить цельность своей личности и в жизни, и в искусстве. Таков был Тютчев: то мирозерцание, которое другие признавали лишь для творчества, было в самом деле его верой. Таков был Баратынский: он посмел перенести в поэзию свое повседневное, житейское понимание мира.

Дорога, по которой идет художник, отделивший творчество от жизни, приходит прямо на бесплодные вершины «Парнаса». «Парнасцы» - это именно те, кто смело провозгласили крайние выводы пушкинского поэта, соглашавшегося быть «всех ничтожней», пока его «не требует» глагол Аполлона, - выводы, которые, конечно, ужаснули бы Пушкина. Тот же Теофиль Готье, сложивший формулу о бессмертии искусства, этот последний романтик во Франции и первый парнасец, оставил и свое определение поэта. «Поэт, - пишет он, - прежде всего рабочий. Совершенно бессмысленно старание поставить его на идеальный пьедестал. Он должен иметь ровно столько ума, как и всякий рабочий, и обязан знать свой труд. Иначе - он дурной поденщик». А труд поэта - это шлифование слов и вставляющие их в оправу стихов, как дело ювелира - обработка драгоценных камней... И, верные такому завету, парнасцы работали над своими стихами, как математики над своими задачами, быть может не без вдохновения («вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии», - слова Пушкина), но прежде того со вниманием и уже во всяком случае без волнения. Юный Варлен, бывший первоначально всецело под влиянием Парнаса, со свойственным ему необузданностью заявил напрямик: «Мы оттачиваем слова, как чаши, и

совершенно холодно пишем страстные стихи. Искусство не в том состоит, чтобы расточать свою душу. Разве не из мрамора Милосская Венера?»

Но современное искусство, то, которое называют «символизмом» и «декадентством», шло не этой опустошенной дорогой. На стебле романтизма развернулось два цветка: рядом с парнасством - реализм. Первый из них, хотя, может быть, поныне «золотом вечным горит в песнопении», но бесспорно «иссох, свалился», второй же дал семя и свежие ростки. И все то новое, что возникло в европейском искусстве последней четверти XIX века, выросло из этих семян. Бодлер и Ропс, еще чуждые нам по своей форме, но родные по своим порывам и переживаниям, истинные предшественники «нового искусства», - явились именно в эпоху, когда господствовал реализм: и они были бы невозможны без Бальзака и Гаварни. Декаденты начинали в рядах парнасцев, но у них декаденты взяли лишь понимание формы, ее значения. Оставив парнасцев собирать свои трофеи, «декаденты» ушли от них во все буйства, во все величия и низости жизни, ушли от мечтаний о пышной Индии радж и вечно красивой Перикловой Эллады к огням и молотам фабрик, к грохоту поездов (Верхарн, Арно Гольц), к привычной обстановке современных комнат (Роденбах, Рембо), ко всем мучительным противникам современной души (Гофмансталь, Метерлинк), к той современности, воплотить которую надеялись и реалисты. Не случайно Город наших дней, впервые вошедший в искусство в реалистическом романе, нашел своих лучших певцов именно среди декадентов. Романтизм сорвал с души поэта веревки, которыми опутывал ее лжеклассицизм, но не освободил окончательно. Художник-романтик все еще был убежден, что искусство должно изображать одно прекрасное и высокое, что есть многое, что не подлежит искусству, о чем оно должно молчать («Лишь юности и красоты поклонником быть должен гений», - писал Пушкин). Только реализм вернул искусству весь мир, во всех его проявлениях, великих и малых, прекрасных и безобразных. В реализме совершилось освобождение искусства от замкнутых очертанных пределов. После этого достаточно было, чтоб в сознание проникла глубоко мысль, что *весь мир во мне*, - и уже возникало современное, наше понимание искусства. Подобно реалистам, мы признаем единственно подлежащее воплощению в искусстве : жизнь, - но тогда как они искали ее вне себя, мы обращаем взор внутрь. Каждый человек может сказать о себе с таким же правом, с каким утверждают все методологические

условности: «есмы только я». Выразить свои переживания, которые и суть единственная реальность, доступная нашему сознанию, - вот что стало задачей художника. И уже эта задача определила особенности формы, столь характерной для «нового искусства». Когда художники верили, что цель их — передать внешнее, они старались подражать внешним видимым образам, повторять их. Сознав, что предмет искусства - в глубинах чувства, в духе, пришлось изменить и метод творчества. Вот путь, приведший искусство к символу. Новое, символическое творчество было естественным следствием реалистической школы, новой, дальнейшей, неизбежной ступенью в развитии искусства.

Золя собирал «человеческие документы». Писание романа он превращал в сложную систему изучения, сходную с работой судебного следователя. Еще много раньше наш Гоголь усердно наполнял свои записные книжки материалами для будущих своих произведений, записывал разговоры, удачные словца, «зарисовывал» виденные типы. Но роковым образом художник может дать только то, что - в нем. Поэту дано пересказать лишь свою душу, все равно - в форме ли лирического непосредственного признания, или населяя вселенную, как Шекспир, толпами вечно живых, сотворенных им видений. Художнику должно заполнять не свои записные книжки, а свою душу. Вместо того, чтобы накапливать груды заметок и вырезок, ему надо бросить самого себя в жизнь, во все ее вихри. Пропать между «словами» и «делами» художника исчезла для нас, когда оказалось, что творчество лишь отражение жизни и ничего более. Поль Верлен, стоящей на пороге нового искусства, уже воплотил в себе тип художника, не знающего, где кончается жизнь, где начинается искусство. Этот покаянный пьяница, слагавший в кабаках гимны телу, а в больницах - Деве Марии, не отрекался сам от себя - прошлого, слышав «божественный глагол». Кто принимает стихи Верлена, должен принять и его жизнь; кто отвергает его, как человека, пусть отречется и от его поэзии; она нераздельна с его личностью.

Конечно, Пушкин в значительной степени только прикрывался формулой «пока не требует поэта»... Она была ему нужна, как ответ врагам, злобно передававшим друг друга на ухо о его «разврате», о его страсти к картам. Несмотря на собственное признание Пушкина, что он «ничтожней всех», нам его образ и в жизни представляется гораздо более высоким, чем хотя бы Языкова, поставившего поэту совсем противоположный идеал («В мире будь величествен и свят»). Но неоспоримо, что как романтик (в широком смысле термина), Пушкин далеко

не всем сторонам своей души давал доступ в свое творчество. В иные мгновения жизни он сам не считал себя достойным пред алтарем своего божества для «священной жертвы». Подобно Баратынскому, Пушкин делил свои переживания на «откровенья преисподней» и на «небесные мечты». Лишь в таких случайных для Пушкина созданиях, как «Гимн в честь Чумы», «Египетские ночи», «В начале жизни школу помню я», сохранены нам намеки на ночную сторону его души. Те бури страстей, которые он переживал в Одессе или во дни, приведшие его к трагической дуэли, - Пушкин скрыл от людей, не только с гордостью человека, не желающего выставить своих страданий «на диво черни простодушной», но и со стыдливостью художника, отделяющего жизнь от искусства. Какие откровения погибли для нас в этом принудительном молчании! Пушкину казалось, что эти признания унижат его творчество, хотя они не унижали его жизни. Насильственно отрывал он себя - поэта от себя - человека, заставлял себе писать «Анжело» и все мечтал о победе «в обитель чистую трудов и мирных нег», думая, что там найдет он второе Болдино. Но ведь в Болдине была не «обитель нег и трудов», а дни мучительной разлуки с невестой, встающие в одиночестве кошмары его «преступной юности», угроза близкой смерти!

Мы, которым Эдгар По открыл весь соблазн своего «демона извращенности», мы, для которых Ницше переоценил старые ценности, не можем идти за Пушкиным на этот путь молчания. Мы знаем только один завет к художнику: Искренность, крайнюю, последнюю. Нет особых миггов, когда поэт становится поэтом: он или всегда поэт или никогда. И душа не должна ждать божественного глагола, чтобы встрепенуться, «как пробудившийся орел». Этот орел должен смотреть на мир вечно бессонными глазами. Если не настало время, когда для него в этом прозрении - блаженство, мы готовы заставить его бодрствовать во что бы то ни стало, ценой страданий. Мы требуем от поэта, чтобы он неустанно приносил свои «священные жертвы» не только стихами, но каждым часом своей жизни, каждым чувством, - своей любовью, своей ненавистью, достижениями и падениями. Пусть поэт творит не свои книги, а свою жизнь. Пусть хранит он алтарный пламень неугасимым, как огонь Весты, пусть разожжет его в великий костер, не боясь, что на нем сгорит и его жизнь. На алтарь нашего божества мы бросаем самих себя. Только жреческий нож, рассекающий грудь, даёт право на имя поэта.

«Весы», 1905 г., №1.

КЛЮЧИ ТАИН

...Искусство поучает - мы знаем это на тысячах примеров. Но, вместе с тем, в искусстве часто нет ближайших целей, никакой пользы - отрицать это могут только фанатики. Наконец, искусство общит людей, раскрывает душу, делает всех причастными творчеству художника. Что же такое искусство? Как оно и полезно и бесполезно? Служит Красоте или часто безобразно? И средство общения и уединяет художника?

Единственный метод, который может надеяться решить эти вопросы, - интуиция, вдохновенное угадывание, метод, которым во все века пользовались философы, мыслители, искавшие разгадки тайн бытия. И я укажу на одно решение загадки искусства, принадлежащее именно философу, которое - кажется мне- дает объяснения всем этим противоречиям. Это - ответ Шопенгауэра. У самого философа его эстетика слишком связана с его метафизикой. Но, вырывая его угадывания из тесных оков его мысли, освобождая его учение об искусстве от всех случайно опутавших его учений об «идеях», посредникам между миром нуменов и феноменов, - мы получим простую и ясную истину: искусство есть постижение мира иными, нерассудочными путями. Искусство - то, что в других областях мы называем откровением. Создания искусства это - приотворение двери в Вечность.

Явления мира, как они открываются нам во вселенной - растянутые в пространстве, текущие во времени, подчиненные закону причастности, подлежат изучению методами науки, рассудком. Но это изучение, основанное на показаниях наших внешних чувств, дает нам лишь приблизительное знание. Глаз обманывает нас, приписывая свойства солнечного луча цветку, на который мы смотрим. Ухо обманывает нас, считая колебания воздуха свойством звенящего колокольчика. Все наше сознание обманывает нас, перенося свои свойства, условия своей деятельности на внешние предметы. Мы живем среди вечной, исконной лжи. Мысль, а следовательно, и наука бессильны разоблачить эту ложь. Больше, что они могут сделать, это указать на нее, выяснить ее неизбежность. Наука лишь вносит порядок в хаос ложных представлений и размещает их по рангам, делая возможным, облегчая их узнавание, но не познание.

Но мы не замкнуты безнадежно в этой «голубой тюрьме» - пользуясь образом Фета. Из нее есть выходы на волю, есть просветы. Эти просветы - те мгновения экстаза, сверхчувствительной интуиции, которые дают иные постижения мировых явлений, глубже проникающие за их внешнюю кору, в их сердцевину.

Исконная задача искусства и состоит в том, чтобы запечатлеть эти

мгновения прозрения, вдохновения. Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить самому себе свои темные, тайные чувствования. Где нет этого уяснения, нет художественного творчества. Где нет этой тайности в чувстве, нет искусства. Для кого все в мире просто, понятно, постижимо, тот не может быть художником. Искусство только там, где дерзновение за грань, где порывание за пределы познаваемого, в жажде зачерпнуть хоть каплю «стихий чуждой, запредельной».

«Врата Красоты ведут к познанию», - сказал Шиллер. Во все века своего существования, бессознательно, но неизменно, художники выполняли свою миссию: уясняя себе открывавшиеся тайны, тем самым искали иных, более совершенных способов познания мироздания. Когда дикарь чертил на своем щите спирали и зигзаги и утверждал, что это «змея», он уже совершал акт познания. Точно так же античные мраморы, образы гетевского Фауста, стихи Тютчева - все это именно запечатление в видимой осязательной форме тех прозрений, какие знавали художники. Истинное познание вещей раскрыто в них с той степенью полноты, которую допустили несовершенные материалы искусства: мрамор, краска, звуки, слова...

Но в течение долгих столетий искусство не отдавало себе явного и определенного отчета в своем назначении. Различные эстетические теории сбивали художников. И они воздвигали себе кумиры, вместо того, чтобы молиться истинному богу. История нового искусства есть, прежде всего, история его освобождения. Романтизм, реализм, символизм - эти три стадии в борьбе художников за свободу. Они свергли, наконец, цепи рабствования разным случайным целям. Ныне искусство, наконец, свободно.

Теперь оно сознательно предается своему высшему и единственному назначению: быть познанием мира, вне рассудочных форм, вне мышления по причинности. Не мешайте же новому искусству в его, как иной раз может показаться, бесполезной и чуждой современных нужд задаче. Вы мерите пользу и современность слишком малыми мерами. Польза человечества - вместе с тем и наша личная польза. Все мы живем в вечности. Те вопросы бытия, разрешить которые может искусство, - никогда не перестают быть злободневными. Искусство, может быть, величайшая сила, которой владеет человечество. В то же время, как все ломы науки, все топоры общественной жизни не в состоянии разломать дверей и стен, замыкающих нас, - искусство таит в себе страшный динамит, который сокрушит эти стены, более того - оно есть тот сезам, от которого эти двери растворяются сами....

«Весы», 1904, №1.

Н. ГУМИЛЕВ

ПО ПОВОДУ САЛОНА МАКОВСКОГО

Искусство является отражением жизни страны, суммой ее достижений и прозрений, но не этических, а эстетических. Оно отвечает на вопрос, не как жить хорошо, а как жить прекрасно. Но тут ему представляются два пути. Первый более легкий и эффективный - это стремление к утонченности, к переживаниям новым во что бы то ни стало, декаданс. Идущие по этому пути сперва совершенствуются в области формы, старое содержание облекают в новую для него изысканность, но потом наступает переворот. Чтобы дразнить притупленные нервы, недостаточно ликеров, нужен стоградусный спирт. Отсутствие формы начинает волновать больше, чем самая утонченная форма. Начинает казаться, что линии уже даны в самих красках, теряется чувство грани между элементами искусства, и преждевременный синтез становится в лучшем случае гротеском. Достижения художников этого разряда не двигают вперед наше художественное сознание - они только частный случай искусства, случайный приз, отдых на дороге.

Второй путь - ренессанс. Наряду с декадентами, остро сознавшими свою неудовлетворенность прошлым, но не смогшим найти из нес выхода, появляются новаторы, которые идут к будущему, имея за собой весь искус старины. Как Микула Селянинович, близки они к духу земли: как Вольга Святославич, живут стремлением к далеким и сказочным странам. Их можно отличить от декадентов уже тем, что их творчество богато примамми, разнообразно по темам, является микрокосмом и органически целым, способным производить живое потомство.

Выставка «Салон» Сергея Маковского - все течения русской живописи последних лет - дает мне возможность иллюстрировать мою жизнь примерами.

Прекрасны Сомов и Бенуа: слегка жеманная грусть о прошлом, ненависть к современности, могучая техника и совершенный вкус чаруют своей неделанной последовательностью. Но оба они не нашего поколения, они уже сказали свои слова. Розы их творчества оказались махровыми, от них прямой выход к Петрову-Водкину. Бесспорно талантливый, способный ко многим и тонким восприятиям, Петров-Водкин не дал ничего законченного, его искусство - это искусство четвертого измерения. Он учился у Гогена. И я только резюмирую мысль, уже

высказанную мной, что Гоген пошел по слишком индивидуальному пути, что он один мог пользоваться своими завоеваниями, что можно быть равным Гогену, но быть как Гоген нельзя. Пока Петров-Водкин типичный упадочник, и трудно предсказать, хватит ли у него силы сделаться работником возрождения.

Рерих - вот высшая ступень современного русского искусства. Он глубоко национален, именно национален, а не народен. Не принимая современную Россию за нечто самоценное, законченное, он обращался к тому времени, когда она еще создавалась, ищет влияний скандинавских, византийских, индийских, но всех преображенных в русской душе. Манера его письма - могучая, здоровая, такая простая с виду и такая утонченная по существу - меняется в зависимости, но всегда раскрывает лепестки одной и той же души, мечтательной и страстной. Своим творчеством Рерих открыл непочатые области духа, которые суждено разрабатывать нашему поколению.

Люком-Маковская тоже работает над русскими сюжетами, но для нее Россия только красивая декорация, в ее картинах слишком много осторожной европейской культурности. Следует упомянуть и Шитова, художника с большим вкусом и умением создавать благородные красочные эффекты.

Отдельно от других стоит громадное полотно Бакста «Tergo antiquus». Его замысел величественен. Античность понята не как розовая сказка золотого века, а как багряное зарево мировых пожаров. В ней еще слышен грохот бесчисленных орд, кровавые поверья, великие подвиги и преступления людей, одаренных нечеловеческой властью. Но, увы! Художник не справится со своей задачей, он не продумал ее до конца и, вместо символа, дал его схему, пусть интересную, но не отвечающую силе замысла. Как бы тут ни было, для нашего времени особенно важно найти свое отношение к античности, и картина Бакста напоминает об этом.

Российская журналистика XX века.
Дореволюционный период.
Сборник текстов. Учебное пособие по истории
журналистики России.

Составитель Л.П.Макашина.
Редактор Л.Д.Иванова.
Компьютерная верстка и оформление Ю.В.Котов.

Подписано в печать 14.06.1999. Формат 60×90/32. Усл. печ. л 14,3
Уч. изл. 13,7 Тираж 400 экз. Заказ

Уральский Государственный университет им.Горького.
Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Типография ООО "НПП "Викинг".
Екатеринбург, ул.Белинского, 34-27. Тел. 51-15-35

Песнь его - только песнь умирающего раба, сраженного гладиатора. Если бы он знал, что суждено ей заглушиться песнью торжествующей свиньи!

«Всякий народ имеет своего дьявола», - говорит Лютер. Никитенко увидел лицо русского дьявола - «космический зад»: ну, и что же, все мы тут, все не ангелы; и до чего нам родная, милая вся эта Русь; нам другой Руси не надо».

Да здравствует Свинья Матушка!

Он от этого умер, а мы этим живем.

п

II. «СТРАШНЫЙ СУД» НАД РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ

Начало XX века принесло русской интеллигенции осознание своей роли в жизни народа и истории государства. Событием, ставшим катализатором и, пожалуй, проверкой ее на объективность, совестливость и честность, явилась первая российская революция 1905 - 1907 годов. Одни интеллигентские круги (социалисты всех оттенков) подстегивали необузданность и ярость народную, используя ее в своих политических целях, другие (либералы) пытались образумить и остановить народную стихию. Печать всех политических ориентацией отразила на своих страницах отношение и к революции, и к роли интеллигенции в ней. Журнал «Русская мысль» (1863 - 1918) освещал проблемы интеллигенции на протяжении всей истории своего существования. Поэтому не является случайностью, что именно авторы этого журнала во главе со своим редактором П. Струве явились инициаторами издания сборника «Вехи» (1908 г.), имевшего мировой общественный резонанс.

Лейтмотив статей семи авторов «Вех» (Бердяева, Струве, Кистяковского, Булгакова, Изгоева, Гершензона, Франка) - покаяние перед русским народом. «Переболев» революцией, веховцы поняли всю пагубность «разрушительного пути» совершенствования общества, призывали покаяться и раз и навсегда отказаться от призывов к революциям, избрав путь цивилизованного реформаторства и прогресса. Как ни странно, этот призыв вызвал протест как либеральной, так и радикально настроенной интеллигенции.

Д. Мережковский в журнале «Новый путь» и газете «Речь» (статья «Семь смиренных») выступил с резкой критикой «Русской мысли». Сотрудники другого старейшего журнала — «Вестник Европы» во главе со своим редактором К. Арсеньевым создали альтернативный сборник «В защиту интеллигенции». Позицию интеллигентов, не знающих, чью сторону взять, автор газеты «Новое время» В. Розанов назвал предательской позицией, его статья называлась «Между Азефом и «Вехами». Полемику в прессе историк печати и журналист «Биржевых ведомостей» Н. Ясинский назвал «судом над интеллигенцией», посвятив полемике цикл статей в шести номерах своей газеты (N 11245, 11247, 11251, 11255, 11257).

Полемика в русской прессе начала XX века говорила о смене философских парадигм, общественных ценностей и бытовых оценок. Она положила начало «духовному ренессансу» русского общественного самосознания.

Эту тему не обошли своим вниманием и «эстетствующие интеллигенты» - А.Блок, А.Белый, И.Иванов и др. Александр Блок проследил трансформацию постановки проблемы интеллигенции в мирное время и во время разворачивания революционных событий (см. статьи «Народ и интеллигенция» - Золотое руно, 1909, N 1; и «Интеллигенция и революция» - Знамя труда, 1918, 19 января). В отличие от В.Розанова, поверженного в изумление и страх тем, что красивые дворянские дворцы стали ночлежками и туалетами для «необразованного быдла», Блок твердо определил для себя: если интеллигенция столетие тому назад сформулировала задачу поставить народ вровень с собой, она обязана теперь, когда власть переменялась, сотрудничать с большевиками и работать с народом. Другой интеллигент - Д.Мережковский, с презрением отнесся к миссии «облагородить народ», назвав его «грядущим хамом», тем самым оценив массы, борющиеся за светлое завтра - коммунизм, как «быдло», наследующее Хаму.

* * *

П.Б.СТРУВЕ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

Россия пережила до новейшей революции, связанной с исходом русско-японской войны, два революционных кризиса, потрясших народные массы: смутное время, как эпилог которого мы рассматриваем возмущение Разина, и пугачевщину. То были крупные потрясения народной жизни, но мы напрасно стали бы искать в них какой-либо религиозной и политической идеи, приближающей их к великим переворотам на Западе. Нельзя же подставлять религиозную идею под участие раскольников в пугачевском бунте! Зато в этих революциях, не способных противопоставить что-либо исторической государственности и о нее разбившихся, с разрушительной силой сказалась борьба социальных интересов.

Революция конца XVI и начала XVII в.в. в высшей степени по-

учительна при сопоставлении с пережитыми нами событиями. Обычно после революции и ее победы торжествует реакция в той или иной форме. Смута начала XVII века представляет ту оригинальную черту, что и в этой революции, когда в народном движении, непосредственно, минувшая реакцию, одержали верх здоровые государственные элементы общества. И с этой чертой связана другая, не менее важная: «смута» была не только социальным движением, не только борьбой за политическую власть, но огромным движением национально-религиозной самозащиты. Без польского вмешательства великая смута 1598 - 1613 г.г. была бы рядом придворных интриг и переворотов, чередующихся с бессильными и бессвязными бунтами анархических элементов тогдашнего общества. Польское вмешательство развернуло смуту в национально-освободительную борьбу, в которой во главе нации стали ее консервативные общественные силы, способные на государственное строительство. Если это была великая эпоха, то не потому, что взбунтовались низы. Их бунт не дал ничего.

Таким образом, в событиях смуты начала XVII века перед нами с поразительной силой и ясностью выступает неизмеримое значение государственного и национального начал. С этой точки зрения особенно важен момент расхождения и борьбы государственных, земских элементов с противогосударственными, казачьими. За иллюзию общего дела с «ворами» первый вождь земства Прокопий Ляпунов поплатился собственной жизнью и полным крушением задуманного им национального предприятия. Те «последние люди московского государства», которые по зову патриарха Гермогена встали на спасение государства и, под предводительством Минина и Пожарского, довели до конца дело освобождения нации и восстановления государства, совершили это в борьбе с противогосударственным «воровством» анархических элементов. В указанном критическом моменте нашей допетровской «смуты», в его общем психологическом содержании чувствуется что-то современное, слишком современное...

Социальные результаты смуты для низов населения были не только ничтожные, они были отрицательные. Поднявшись в анархическом бунте, направленном против государства, оседлые низы только увеличили свое собственное закрепощение и социальную силу «господ». И вторая волна социальной смуты XVII в., движение, связанное с именем Стеньки Разина, стоившее множества жертв, бессмысленно жестоко, совершенно «воровское» по своим приемам, так же бессильно, как и

И потому, хотим мы или не хотим, помним или забываем, - во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, или разрыва. Это чувство разрыва никто не станет отрицать в целом, но, чуть только попытаешься перевести его на конкретное, - немедленно найдутся ярые отрицатели болезни и защитники своей цельности.

* * *

III . РУССКАЯ ПРЕССА НАЧАЛА XX ВЕКА О НАЦИОНАЛЬНОМ МЕНТАЛИТЕТЕ

Русская периодическая пресса начала XX века стала мощным орудием формирования национального самосознания и осмысления особенностей русского менталитета. Различных аспектов этих проблем коснулись все сколько-нибудь значительные издания и авторитетные публицисты. Поводов для этого на стыке веков было достаточно: русско-японская, балканские, русско-турецкие, русско-корейская войны... Публицистические выступления по этому поводу носили временный характер и помогали России выстраивать новые отношения с национальными государствами как Европы, так и Востока. Одной из тем, не сходящих со страниц русской прессы, была тема русско-еврейских взаимоотношений.

Широко известны статьи В.В. Розанова в газете «Новое время»: «Есть ли у евреев тайны», «Евреи и Европа», «Евреи и иезуиты», «Почему на самом деле евреям нельзя устраивать погромов». В них автор пытается осмыслить еврейские национальные обычаи, их взаимоотношения с представителями других национальностей, отличие иудаизма как религиозной доктрины от христианства. Другой публицист «Нового времени» М.О. Меньшиков в своих многочисленных статьях рассмотрел отношение евреев к военной службе. Журналы «Русская мысль», «Вестник Европы», «Новый путь», «Вопросы психологии и философии» — предоставили свои страницы Вл. Соловьеву, Дм. Мережковскому, Вяч. Иванову и другим авторитетам своего времени, включившимся в обсуждение еврейского вопроса в России. Дело Дрейфуса, разоблачение террористов Гершуни и Азефа, убийство Богровым П.А. Столыпина, дело Бейлиса, активная деятельность сионистских конгрессов, появление национальной еврейской печати и многое другое питали интерес к теме.

Известный либеральный политик, один из редакторов журнала «Русская мысль» П.Б. Струве попробовал закрыть тему. Он утверждал, что на повестке дня русской прессы актуальным должен быть вопрос «великой России», ее государственного авторитета в международном масштабе. Авторитет страны за рубежом складывается из экономических успехов внутри страны, авторитета ее армии и флота. Пресса обсуждает польский, еврейский, финский вопросы в то время, когда она должна помогать нациям, составляющим страну, думать о способах

построения мощной государственности... Эту точку зрения разделили патриотические издания. Идея Великой России, к слову сказать, высказанная на парламентских прениях П.А. Столыпиным, вызвала бурную полемику в столичной журналистике. Наиболее активную позицию занял Владимир Жаботинский. Карьеру журналиста он начал в Одессе, где был сотрудником «Одесских новостей», «Одесского листка», сотрудничал в «Московских ведомостях», в петербургской газете «Биржевые новости» и др. Жаботинский писал: «Гораздо более искренни те публицисты из «Новой Руси» и «Нашей газеты», которые простоудушно спрашивают: своевременно ли обсуждать еврейский вопрос? Не лучше ли раньше вместе решить общегосударственную задачу? Это мы понимаем. Это, по крайней мере, практическая постановка вопроса. И нельзя не согласиться, что правда действительно не своевременна... - с русской точки зрения...

Но это с русской точки зрения, да еще с точки зрения еврейской прислуги русского чертога. Мы благодарим за любезное приглашение идейно приютиться... в людской и через ее стекла выглядывать на Божий свет; благодарим за столь лестное предложение о нашей готовности к собачьему самозабвению» (ст. «Медведь из берлоги»).

Недоуменно воспринял русский читатель требование немедленно вникнуть в национальный еврейский вопрос, частный, так сказать, а потом уже решать «ваши» общие государственные дела. Для русского менталитета идея мощного государства всегда означала величину неизмеримо более важную, чем частный национальный вопрос, ибо мощь государства всегда идентифицировалась с русской национальной независимостью. Русское государство есть синоним «русская земля». В статье «О влиянии пространства на русскую душу» Н.А. Бердяев совершенно справедливо заметил, что «земля» была не только гарантией благосостояния и местом творческой реализации личности, но и хранительницей от всех бед. Еврейскому национальному самосознанию не знакома была такая идентификация: государство - земля - личная независимость. Потеряв тысячи лет назад государственность и землю, еврейский народ, как нация, имел другие идеалы.

О национальной ментальности - еврейском характере в сопоставлении с русским - размышлял в своих статьях теоретик и страстный пропагандист сионизма Владимир Жаботинский. Еврейская интеллигенция получила образование в русских учебных заведениях и не избежала влюбленности в русскую литературу, Жаботинский озабочен этим

и требует от своей интеллигенции заниматься еврейскими национальными проблемами, а не общегосударственными, русскими. Еще более Жаботинский озабочен массовым увлечением евреев русской революцией. Он требовал: «Затраты каждой общественной группы должны быть точно соразмерены и с ее интересами и с ее силами. Больше должен тратить на общественное дело тот, кто получит большую выгоду от его осуществления, больше должен тратить на общее дело тот, у кого силы и средства больше. Пропорциональное представительство в революции! Наша еврейская затрата на дело обновления России не была соразмерна ни с нашими интересами, ни с нашим значением, ни с нашими силами... в обновленной России нам придется жить с теми же соседями(ст. «Еврейская крамола», 1906)». Жаботинский призывает еврейскую интеллигенцию вернуться к своему языку, культуре, религиозной морали, ибо они, русские, интересуются только сами собой, ибо обаяние русской культурой - ложное обаяние. Жаботинский выдвинул обвинение: «Мы проглядели, что в пресловутой и нас захватившей культуре «святой и чистой» русской интеллигенции, которая лучше всех заграничных и супротив которой немецкая и французская - мещане, что во всем этом славословии о себе (!) самих, решительно вздорном и курьезном, гулко звучала нота национального самообожания»вызывая «взрыв непомерно вздутого национального самолюбия»(ст. «Еврейская крамола», 1906 г.)

В отличие от позиции Жаботинского, стремящегося противопоставить русскую и еврейскую культуры, авторская позиция В.Розанова, Н.Бердяева, В.Соловьева и др. базируется на сопоставлении культур, целью которого является выявление особенностей национальной ментальности. Однако приемы аргументации подчас удивительно схожи. Бердяев, говоря об «ушибленности» пространством русского человека, о женской доминанте в его характере, как бы стремится «разозлить», расшевелить, заставить активно действовать, а не пассивно созерцать. И Жаботинский также пишет, что русскому еврею нечего обольщаться русскостью, надо помнить, что еврейство дальше «прихожей» в русском государстве не пустят. Для него важно заставить еврейство бороться за идею заселения «земли обетованной».

Деятельность Жаботинского по воспитанию евреев в этом направлении была высоко оценена Всемирной сионистской организацией, по заданию которой он был направлен в Турцию(после восстания младотурков) для организации сионистской печати в этом государстве. В на-

чале первой мировой войны Жаботинский отправился в Европу в качестве собственного корреспондента газеты «Русские ведомости». Однако главной деятельностью его в этот период является не журналистская, а организаторская - по созданию «Еврейского легиона».

Национальная принадлежность, безусловно, влияет на авторскую позицию публициста и политика. Примеров множество. Например, Голда Меир в своей книге «Моя жизнь» дважды описывает болота. Пинские болота ее российского детства вызывают у нее омерзительные воспоминания, а палестинские болота, на которых работает ее сестра в киббуце, связаны с идеей преобразования собственной национальной земли, с преобразованием личности людей - это светлые воспоминания. Бердяев в книге «Самопознание» любовно отзывается о родовом поместье в России, умилительно — о скромной русской природе и сдержанно о своем новом отечестве — Франции, ставшей приютом его старости.

Российская пресса начала XX века, обсуждая на своих страницах особенности национальных менталитетов, внесла вклад в философское осмысления понятия « национальное самосознание», способствовала активизации познавательных процессов и выработке поведенческих эталонов.

В. СОЛОВЬЕВ

«РУССКАЯ ИДЕЯ»

Цель этих страниц не в том, чтобы сообщить какие-либо подробности о современном положении России, исходя из того предположения, что она является страной, не известной Западу, страной, о которой на Западе имеют ложные представления.

Не говоря уже о многочисленных переводах, которые сроднили Европу с образцовыми произведениями нашей литературы, мы видим теперь, в особенности во Франции, выдающихся писателей, поставивших себе целью ознакомления европейской публики с Россией и выполняющих это дело много лучше, чем это, быть может, удалось бы русскому. Приведу только два французских имени: Анатоль Леруа-Болье дал в своем превосходном исследовании «Империя царей» весьма прав-

дивое, весьма полное и прекрасно составленное изложение нашего политического, общественного и религиозного положения, а виконт де Вогюз в целом ряде блестящих работ, посвященных русской литературе, отнесся к своему предмету не только как знаток его, но и как энтузиаст.

Благодаря этим писателям и еще многим другим просвещенная часть европейской публики должна быть достаточно ознакомлена с Россией во всем, что касается многообразных сторон ее реального существования. Но это знакомство с русскими делами оставляет всегда открытым вопрос другого порядка, весьма затемненный могущественными предрассудками, вопрос, который и в самой России в большинстве случаев получал лишь нелепые разрешения. Беспольный в глазах некоторых, слишком смелый в глазах других, этот вопрос в действительности является самым важным из всех для русского, да и вне России он не может показаться лишенным интереса для всякого серьезного мыслящего человека. Я имею в виду вопрос о смысле существования России во всемирной истории. Когда видишь, как эта огромная империя с большим или меньшим блеском в течение двух веков выступала на мировой сцене, когда видишь, как она по многим второстепенным вопросам приняла европейскую цивилизацию, упорно отбрасывая ее по другим, более важным, сохраняя таким образом оригинальность, которая, хотя и является чисто отрицательной, но не лишена тем не менее своеобразного величия, - когда видишь этот великий исторический факт, то спрашиваешь себя: какова же та мысль, которую он скрывает за собою или открывает нам; каков идеальный принцип, одушевляющий это огромное тело, какое новое слово скажет этот новый народ человечеству; что желает он сделать в истории мира? Чтобы разрешить этот вопрос, мы обратимся к общественному мнению сегодняшнего дня, что поставило бы нас в опасность быть разочарованными событиями последующего дня. Мы поищем ответа в вечных истинах религии. Ибо идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но и то, что Бог думает о ней в вечности.

I

Раз мы признаем существенное и реальное единство человеческого рода - а признать его приходится, ибо это есть религиозная истина, оправданная рациональной философией и подтвержденная точной нау-
